



Ольга Славникова

Любовь в седьмом вагоне

Лауреат премии

«Русский Букер»



A S T

Ольга Славникова
**Любовь в седьмом
вагоне**

Москва АСТ АСТРЕЛЬ

Славникова, О.А.

С47 **Любовь в седьмом вагоне: [рассказы] / Ольга Славникова. — М.: АСТ : Астрель, 2010. — 285, [3] с.**

ISBN 978-5-17-054537-7 (АСТ) (С.: ПС)

ISBN 978-5-271-21641-1 (Астрель)

ISBN 978-5-17-055490-4 (АСТ) (С.: ПС-2)

ISBN 978-5-271-21854-5 (Астрель)

Ольга Славникова – известная романистка, лауреат премии «Русский Букер» представлена здесь как прекрасная рассказчица. Истории, вошедшие в сборник, увлекательны и разнообразны: love story, детектив, фантастика, лубок...

И все они объединены темой железной дороги, неиссякаемым источником сюжетов и характеров. Главное, говорит автор, будьте готовы заглянуть за пределы обыденной действительности, не важно – читаете ли вы эту книгу, сидя дома в удобном кресле или поглядываете в окно на пейзаж, мимо которого мчится скорый поезд...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 19.11.09. Формат 84×108^{1/2}.

Гарнитура «Ньютон». Усл. печ. л. 15,1.

С.: ПС. Доп. тираж 1500 экз. Заказ № 3082

С.: ПС-2. Доп. тираж 1500 экз. Заказ № 3083

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ISBN 978-5-17-054537-7 (АСТ) (С.: ПС)

ISBN 978-5-271-21641-1 (Астрель)

ISBN 978-5-17-055490-4 (АСТ) (С.: ПС-2)

ISBN 978-5-271-21854-5 (Астрель)

© Славникова О.А., 2008

© ООО «Издательство Астрель», 2008

ДОСТОВЕРНАЯ ФАНТАСТИКА

(Предисловие автора)

Я люблю ездить в поездах. Гораздо больше, чем летать на самолетах. Не потому, что боюсь высоты (при семи тысячах над землей никакая высота не чувствуется, скорее возникает ощущение, что тебя везут в телеге по неровной дороге). Дело в том, что гражданская авиация обманывает: вроде бы переносит из Москвы в мой родной Екатеринбург за два часа пятнадцать минут, а на деле — полтора часа до аэропорта (по пробкам), полтора часа в аэропорту (регистрация, контроль), потом летишь, потом получаешь багаж, потом час до дома... В результате — проводишь целый день в бессмысленной суете, да еще и посадить по метеоусловиям могут вовсе не в Кольцово. А сел на Казанском в поезд «Урал», и практически то же время, за вычетом сна, — целиком твое.

Это время в поездах обладает для меня особенной ценностью. Обычно после первого обустройства в купе начинаются разговоры. Действительно, случайным попутчикам люди рассказы-

вают о себе больше, чем родным и близким. Железная дорога – источник сюжетов. Она же – источник характеров. Даже если попутчик молчит всю дорогу, сам облик его, манера листать журнал или лупить, чтобы была пышнее, плоскую казенную подушку часто дают толчок авторской мысли. Некоторые героини моих романов – железнодорожного происхождения. Я их прихватила с собой, как иные рачительные пассажиры прихватывают мыльце из дорожного набора или запечатанный трубочкой фирменный сахарок.

Кроме того, всегда интересно, что происходит за вагонным окном. В детстве мы с отцом, когда ехали в поезде, играли в нашу игру «Вижу – не вижу». По правилам, надо было первым заметить что-нибудь забавное и привлекательное. Папа раньше меня видел автомобили с автомобилистами, велосипеды с велосипедистами, а я – кошек, собак и то, что продается на садово-плодовых полустанках. С тех пор пейзаж, мимо которого мчится поезд, обладает для меня той же глубиной и занимательностью, какие свойственны иллюстрациям в самых любимых детских книжках.

«Железная дорога – место романтическое. Засыпаешь в одном месте, просыпаешься в другом...» – сказал Александр Кабаков, предложивший мне написать цикл рассказов для глянцевого журнала «Саквояж-СВ». Эта идея меня увлекла. Если говорить совсем честно, то во всяком рассказе интересам глянцевого формата я предпочитала свои творческие интересы и в конечном итоге – интересы читателей будущей книги. С другой же стороны, формат подвижен,

и иногда – совершенно неожиданно подвижен: случилось, что ради размещения весьма объемного рассказа журнал «Саквож-СВ» снимал из номера свои рубрики, за что я искренне благодарна.

Рассказы этой книги написаны для читателя, готового заглянуть чуть дальше обыденной действительности. Под обложкой – микс из разных жанров, от антиутопии до детектива, от любовной истории до мистики. Все это вместе я бы определила как достоверную фантастику. Это значит, например, что действительно существовали описанные в «Русской пуле» проекты сверхскоростных поездов, по неизвестной причине погубленные. Гигантские смерчи еще не пришли на Вологодчину, как это случилось в «Отшельнике», но автор перерыл научные статьи, видел любительские съемки, беседовал с очевидцами, наблюдавшими смерчи в США, и ручается за достоверность этого грозного персонажа. Если в рассказе «Любовь в седьмом вагоне» появляется якутская шаманка, то и черный ворон с белой головой, и тетива, натянутая между вершинами гор, – суть подлинные элементы мистической практики шаманов, важные для выдуманного сюжета. Фантастическое допущение работает в полную силу только на основе подлинности. То оружие, что висит на стене в начале действия и стреляет в конце, должно быть не абстрактным бластером, а тульской двустволкой или автоматом Калашникова. Тогда выстрел попадает в цель.

В заключение хочу выразить благодарность Александру Кабакову, сподвигшему меня написание этой книги. Также выражаю благодарность Леониду Николаевичу Славникову, много лет проработавшему начальником финансовой службы Свердловской железной дороги и обеспечившему своими консультациями достоверность базового материала.

РУССКАЯ ПУЛЯ

На Казанском вокзале все выходы к поездам дальнего следования были перекрыты. Голубев предъявил паспорт желтоусому румяному милиционеру, у которого на груди, будто короб у коробейника, висел раскрытый ноутбук. На животе его напарника задирал хоботок похожий на злое железное насекомое пистолет-пулемет «Вереск».

– Пресса – первый вагон, – буркнул желтоусый, долистав файл до нужной фамилии и возвратив Голубеву документ громадной ручищей, затянутой в черную перчатку.

И вот он – сверхскоростной реактивный поезд «Россия», готовый через полчаса отправиться в свой первый исторический рейс Москва–Иркутск. «Русская пуля», как называли его во всех выпусках новостей. Голубеву приходилось и прежде видеть поезд-«пулю»: в Японии, в префектуре Яманаси. Тот был монорельсовый, на магнитной подвеске и напоминал иглу со многими ушками-окнами; он исчезал из вида, оставляя по-

сле себя даже не звук, а отзвук, тонкую вибрацию лопнувшего пространства. В отличие от японца, российский сверхскоростной собирался поставить рекорд на родном натруженном Транссибе. Непривычно короткий, обтекаемо-горбатый, он напоминал не поезд, а скорее субмарину – причем собравшуюся произвести запуск баллистических ракет: в головной его части поднятые на металлических рогах темнели две, еще холодные, сигары реактивного двигателя.

Зрелище было столь величественное, что казалось, будто большая часть этого сухопутного наUTILуса осталась под землей, что сооружение всплыло из земляных российских толщ, где ему и положено ходить, распугивая ледниковые валуны. Поезд был точно покрыт горелой каменной коркой. Никакой нарядной хай-тековской зеркальности: «Россию» одевал зернистый темный полимер, способный создавать вокруг стремительно мчащегося тела тонкий, почти безвоздушный экран. Этот полимер и был главным ноу-хау сверхскоростного поезда: так сообщил на пресс-конференции директор НИИ железнодорожного транспорта, обширный вальяжный мужчина, похожий на чемпиона породы среди бульдогов, – явно ничего не смысливший в разработке, пришедшей из каких-то секретных военных лабораторий. И все-таки не верилось, что пять тысяч сто девяносто два километра – расстояние по «железке» между Москвой и Иркутском – поезд покроет за каких-то шесть с половиной часов.

– Какой русский не любит быстрой езды! – раздался над ухом у Голубева сдобный басок.

Голубев обернулся и увидел своего заклятого друга Гошу Бухина. Толстый Гоша, принципиально небритый, был, как всегда, одет в измятый камуфляж и бархатную феску с кисточкой. Пригожее и сочное лицо сына турецкоподданного лучилось предвкушением приятной поездки. Неизвестно, какое СМИ представлял Бухин на поезде «Россия»: он менял места своей кипучей творческой деятельности с головокружительной быстротой, и любой другой на месте Гоши давно провалился бы в пропасть между дрейфующими медиа – но Гоша не проваливался.

«Все-таки пролез, зараза, на поезд», – с досадой подумал Голубев.

– Ты все-таки вписался в поездку, акула пера! – воскликнул Бухин, с силой хлопая Голубева по сутулой спине. – Вместе несемся в Иркутск? А там, говорят, такой банкет готовят! Губернаторский... – Бухин мечтательно прижмурил маслянистые глаза дивной красоты, в которых, однако, уже проступал белковыми узелками и кровавыми живчиками застарелый алкоголь.

Голубев поежился. На перроне, несмотря на прибывающую публику, было пустовато. Пустота была такая, что хотелось крикнуть. Окруженные плотной охраной, негромко беседовали между собой депутаты Государственной думы, с лицами бледными, как погашенные лампы; между ними выделялась искусственной живостью и бирюзовым костюмчиком единственная дама, представлявшая, кажется, Правительство Москвы. Затесавшийся к важным персонам, директор железнодорожного НИИ выглядел растерянным,

его большие плоские щеки подрагивали, руки болтались, будто брошенные весла.

– А вот и Даша, радость наша! – воскликнул Бухин, раскрывая на весь перрон камуфляжные объятия. – Дашутка, сердце мое, иди скорей ко мне!

– Сань, привет, – поздоровалась с Голубевым Даша Пирогова, обозревательница «Телеграфа».

Вчерашняя практикантка, круглолицая и крутолобая девочка из Подмосковья, Даша очень старалась. Голубев, будучи раздолбаем и любителем пропустить на фуршетах рюмку-другую-третью, не раз обращался к Даше за упущенной информацией, и Даша всегда добросердечно давала списать. Поэтому Голубеву было неприятно смотреть, как Гоша по-хозяйски сгреб Дашуту за плечико и поцеловал сложенным в бутон усатым ртом. Даша стояла, тесно сдвинув ноги и принужденно улыбаясь.

«Вот так же он и с Кирой», – подумал Голубев яростно и бессильно. Не то чтобы между Кирой и Голубевым образовался роман, но к этому шло, и Голубев сходил с ума от молодого блеска длинных хитреньких глаз, от веселых кудряшек, способных, казалось, звенеть, как бубенцы. Но влез Бухин и так же по-хозяйски обнимал, и Кира уступила, по мнению Голубева, просто из вежливости, чтобы компенсировать хамскую суть ситуации, а потом исчезла, работает теперь, говорят, специалистом по связям с общественностью в Мосстройбанке. Что произошло? А ничего. Голубев сам дурак. И нечего ревновать Бухина к каждой его прохиндейской удаче и к каждой молоденькой журналисточке, которую Бухин дегустиро-

вал и галантно оставлял у какой-нибудь стенки, чтобы жизнерадостным шмелем перелететь на новый цветок.

– Что-то затягивают отправление, – сказала Даша неестественно высоким голоском.

– Нет, ты посмотри, что делают! – вскричал Бухин, разворачиваясь туда-сюда и держа свою жертву под мышкой. – Ковыряют обшивку поезда! Сувенирчика хотят, глянь!

Действительно, то и дело кто-нибудь из стоявших на перроне украдкой трогал шершавую шкуру «России». Обманчивая рыхлость вещества и правда провоцировала колупнуть, но многие рискнувшие тихонько посасывали пораненные пальцы. Какой-то старикан, похожий страшной худобой и выгоревшим пальцем на огородное пугало, щупал костлявой пястью вагон, точно пальпировал живот больного.

– Да не выйдет у них ничего, – успокаивающе произнес Голубев.

– У них? Выйдет! – нервно хохотнул Бухин. – Это же Россия! Улавливаете метафору, коллеги? Сами ковыряют, и самим же лететь на этом поезде черт знает с какими скоростями! Навернемся к матери! Ну, люди, ну, страна!

На Гошин клекочущий хохот старик, щупавший поезд, обернулся. Встретившись взглядом с его промерзлыми бесцветными глазами, Голубев подумал, что этого пугала должны бояться не только вороны. И Голубеву показалось, что под ветхой одеждой у старика не скелет, а крест.

– А почему у поезда такой странный нос? – заворуженно спросила Даша, указывая на горизонт.

тальный хищный рубильник, выступающий метров на семь перед скошенными стеклами кабины машинистов.

– Солнышко, это же Транссиб, – покровительственно произнес Бухин. – По нему дрезины ездят. Через него коров перегоняют. По нему товарняки ходят пешком. Сегодня, конечно, все грузовые и пассажирские на запасных путях. Но пять с лишним тысяч километров – кто проконтролирует? Думаешь, на скорости пятьсот в час так просто затормозить? Сбрасывать будем на хрен все, что вылезет на рельсы! Поняла?

– Ой, – Даша схватилась ладонью за щеку. Изпод пальцев у нее буквально на глазах пополз густой бархатный румянец.

И тут с шипением поднялись, будто хитиновые крылья, двери вагонов. Защелкали, защелестели фотокамеры, обдавая холодными вспышками группу бледных политиков и директора НИИ, для чего-то гладившего себя по голове. Под сводом Казанского, вспугнув мерцающую тучу голубей, грянул марш.

Голубев давно интересовался поездами-«пулями». С тех пор, как однажды, будучи по-командировочному беззаботен и пьяноват, увидел призрак.

Дело было под Тверью, на станции Дорошиха. Большой, еще советского замеса, вагоностроительный завод получил кредит, пригласили прессу, в том числе столичную, презентовать мало-

вразумительный проект. Ничего толком не показали, зато накормили и напоили с размахом. Голубев, имея в сумке початую бутылку водки и кулек со слипшейся закуской, отделился от шумной гульбы, чтобы в блаженном одиночестве посидеть на весенней траве, помечтать какую-нибудь радужную зыбкую мечту. Майское солнце припекало, как утюг, а пьяненький Голубев в поисках подходящего пригорка все шагал и шагал через нагретые рельсы, застелившие пространство шириной с хорошее речное русло. Под подошвами похрустывал шлак, маслянистый и горячий, как попкорн, порхали обтрепанные бабочки, между шпалами желтели мелкие сдобные цветочки. Вдруг Голубев споткнулся и поднял глаза.

На первый взгляд самый обычный вагон. Вернее, металлолом, останки пригородной электрички. Ржавые язвы на рифленом вагонном боку, простецком, как стиральная доска. Двери и окна, забитые железным листом, кое-где — чудом сохранившиеся стекла, пересохшие и серые, будто старая копирка. А наверху, на голове вагона, — останки авиационного турбореактивного двигателя.

Голубев несколько раз обошел вокруг вагона-призрака. Турбореактивный двигатель, словно разбитый бинокль, слепо вглядывался вдаль. Обтекаемый нос вагона, созданный для высоких скоростей, провалился, будто у сифилитика. Железная трагедия молча кричала о себе, ржавые потеки казались засохшей кровью. Было что-то невыразимо странное, невыразимо неестественное в неподвижности этого поезда-самолета, на-

всегда прикипевшего к рельсам. Голубев так и этак пытался проникнуть внутрь и, пока подпрыгивал и лез, выпил всю водку. В поезде-самолете стояла густая темнота, и воздух там был на десятилетия старше того, которым Голубев дышал снаружи. Забраться в задраенную руину не удалось, но Голубеву показалось, будто он слышал внутри какой-то гул, взволнованные человеческие голоса.

Вернувшись в Москву, Голубев выяснил, что поезд-призрак ему не померещился. Он видел так называемый СВЛ – скоростной вагон-лабораторию, созданный в 1970-м на том самом Калининском вагоностроительном заводе, где теперь ни один сотрудник управления не мог растолковать, что за странная штука ржавеет у них на дальних путях. В начале семидесятых СВЛ, снабженный турбореактивным двигателем от самолета ЯК-40, испытывали на участке дороги Новомосковск–Днепродзержинск. Достигли скорости почти 250 километров в час, после чего по необъяснимым причинам бросили техническое чудо на задворках завода-производителя.

Сверхскоростные поезда заворожили Голубева, завладели его воображением. Ему казалось, что сверхскорость прямо на земле, в гуще обычной медлительной жизни, гораздо ярче нарушает порядок вещей, чем гражданская авиация и даже полеты в космос. Сверхскоростной поезд представлялся ему ниткой, резко выдернутой из ткани мироздания. Голубев думал о том, что поезд-«пуля» сродни высокому безумию, потому что управлять им при помощи человеческого разума

не представляется возможным. Конечно, собственно поезд может быть управляем электронным автопилотом. Но какой компьютер способен контролировать все передвижения наземных объектов, для которых траектория «пули» – всего лишь рельсы да шпалы, повседневная материальность, привычная часть освоенного пейзажа?

Голубеву почему-то очень нравилась лихая история испытаний турбореактивного локомотива в Восточном Огайо в 1966-м. Пилот Дон Уэтцель после вспоминал, что локомотив, как живой, все время пытался набрать скорость выше допустимой – при том, что несся с раздирающим ревом по самым обыкновенным железнодорожным путям. Чтобы предотвратить вполне вероятную катастрофу, в воздух подняли самолет – тихоходный винтовой, едва поспевавший за своевольным локомотивом, похожим сверху на спичку, чиркающую по коробку. Вдруг с самолета на рельсах заметили нечто постороннее. Что именно – разглядеть не удавалось. Через несколько секунд – вероятно, стоивших Дону Уэтцлю нескольких лет жизни – под колесами раздался треск, брызнула щепка. Оказалось, что дети положили на рельсы, для собственного развлечения, кусок фанеры. Счастье, что не притащили что-нибудь покрепче и потяжелей.

Получалось, что в управление поездом-«пулей» входил контроль над всей реальностью: над неисчислимыми траекториями, причинно-следственными связями. Ну, допустим, штат Огайо, как и другие североамериканские штаты, как страны Европы, где летает на непревзойденных

пока скоростях французский TGV, – они на ладони Господа Бога и управляемы хотя бы Его всевидящей волей. Что касается России, то она всегда представлялась Голубеву территорией, имеющей дополнительное измерение – глубину. Россия была подобна огромному земляному океану, она казалась Атлантидой, тонущей вот уже многие столетия. Кто же способен вручную управлять половиной России в течение четверти суток, пока сверхскоростная «Россия» достигнет Иркутска?

Глубоко вздохнув и перекрестившись, Голубев шагнул в дезодорированный душноватый вагон.

Внутри вагон представлял собой подобие салона самолета: нечто среднее между эконом- и бизнес-классом. Пресса шумно размещалась в пухлых новеньких креслах, укладывала аппаратуру в раскрытые над головами багажные боксы. Бухин, не выпуская Дашуту, загнал ее к окошку, сам плюхнулся рядом, отдуваясь и высасывая досуха, до щелчка втянувшейся пластмассы, бутылку минералки. Голубев скромно устроился за ними, в глубине души надеясь, что соседнее кресло останется свободным и ему удастся в одиночестве вкусить переживания, которые готовит день.

– Господа журналисты, пожалуйста, садитесь плотнее, к вам в вагон переводится несколько коммерческих пассажиров, – объявила длинная, затянутая в идеально сшитую синюю форму, проводница-стюардесса.

Голубев замер в неприятном предчувствии.

– Вы позволите? – проскрипел над Голубевым рассохшийся деревянный голосок. Давешний, щупавший поезд, старикан кивнул самому себе лысой, как гриб, головой и в несколько трудных приемов устроился в кресле, связав пятнистые пальцы на запахнутом пальтишке.

Голубев знал, что часть билетов на «Россию» продавалась с аукциона, и цена лота доходила до четырехсот тридцати тысяч рублей. Старикан, от которого пахло, как из пронафталиненного платяного шкафа, совершенно не напоминал состоятельного авантюриста, способного выложить за престижное приключение круглую сумму. Однако теперь и без того небольшое вагонное окно не принадлежало Голубеву целиком. Старикан, поерзав, растопырил кости и жадно уставился в глухой, с двойными стеклами, иллюминатор, за которым не было покамест ничего, кроме куска перрона с растертым окурком.

– Пожалуйста, пристегните ремни безопасности, – нежно произнесла стюардесса словно бы в мозгу у давно пристегнутого Голубева. – Наш поезд отправляется, время в пути – шесть часов двадцать минут. Вставать не разрешается до полного набора скорости. Курить не разрешается до конца поездки, спасибо.

Сперва тронулись полегоньку. Москва в иллюминаторе проходила далекая, как кинохроника в обратной перемотке. Потом по пейзажу будто мазнули мокрой кистью, и на Голубева навалилась тяжесть: точно большая, настойчивая, жадная женщина припала к нему, и Голубев, с зрек-

цией в штанах, выпучился на табло, где ползли, отливая розовым, нарастающие цифры: 250 км/час... 410 км/час... 590 км/час...

– Шестьсот девяносто пять! – придушенно просипел старикан.

И сразу, словно после крика утреннего петуха, колдовская тяжесть исчезла. Голубев оторвал от подголовника онемевший затылок, ощущаемый как полная иглолок ватная подушечка. Кругом вставали, шатаясь, коллеги-журналисты, многие вытирали мокрые глаза. В проходе между креслами выстроилась очередь в туалет. Гоша, растегнув ремень безопасности и нижнюю пуговицу мятой камуфляжной рубахи, вкусно хрустел луковыми чипсами, пихая разодранный кулек безвольной Дашуте. Феска сына турецкоподданного гордо алела на его могучем согнутом колене, небритый второй подбородок напоминал свернувшегося ежа.

Многое было странным при наземной скорости под семьсот километров в час. Казалось бы, по законам физики при отсутствии ускорения не должно происходить ничего особенного – но законы физики действуют не всегда. Безалкогольные напитки, разносимые длинной стюардессой, моргали и были на вид как желе; табачный дымок (журналюги, само собой, курили в туалете, натянув на индикатор презерватив) держался в воздухе необыкновенно долго и медленно, причудливо слоился, будто трехмерная компьютерная графика. Все лица были бледны, точно их вывернули наизнанку. Хождения по вагону как-то быстро прекратились. Из передних кресел до Голубева

доносилось принужденное хихиканье Дашуты, мурчание Гоши, треск вспарываемых пакетов еще с какой-то едой. Сильно мешал старикан, буквально положивший твердую челюсть Голубеву на плечо.

Старикану, как и Голубеву, хотелось глядеть в иллюминатор. За иллюминатором хлестала, точно из шланга, перешедшая в неизвестное агрегатное состояние зеленая, серая, рыжая, блестящая Россия. Ничего нельзя было различить в перебегании неровных полос, по которым то и дело скорый витиеватый почерк выписывал строку (вероятно, населенный пункт), а то принимались выскакивать как бы мелкие острые гвозди, происхождение которых было и вовсе не известно. Только линия горизонта иногда держалась несколько минут – недостоверная, будто край далекого облака, будто пар, исчезающий во мгле. Несмотря на солнечный день (метеобюро любезно спрогнозировало замечательную погоду на всем пути следования «России»), Голубеву казалось, что снаружи наступает ночь.

– Позвольте представиться, – вдруг просипел над самым ухом Голубева надоедливый старикан. – Бибиков Кирилл Касьянович, – и, моргнув замороженными голыми глазами, он въехал костяной ладонью Голубеву под мышку.

– Голубев Александр Николаевич, – нехотя ответил Голубев, пожимая неживые пальцы, холодные, каким бывает градусник при температуре тридцать девять и шесть.

«Бред, а не старик», – подумал он про себя. Голубев знал за собой особенность, крайне не-

комфортную для окружающих: его постоянное стремление отделиться, уйти в себя почему-то напрягало людей, его начинали тормошить, втягивать в любой ничтожный разговор. Вот и этот, как его, Бибиков будет теперь, вероятно, развлекать соседа своим скрипением до самого Иркутска.

– Вот вы наверняка задаетесь вопросом, уважаемый, – прищурился старик, собрав сухую кожу у глаз. – А откуда у древней развалины деньги на коммерческий билет?

– Нет, ну что вы, – смутился Голубев, именно это и думавший.

– От жены моей, Анны Владимировны, остались украшения, – заговорщически пояснил старикан. – Старой еще работы вещи, с камнями высокой чистоты. Вот их-то я и продал. Спустил! – объявил он восторженным фальцетом, взмахом угловатой ручки едва не угодив Голубеву в висок.

– Но зачем же? Вам бы деньгигодились, разве нет? – спросил заинтригованный Голубев, поневоле втягиваясь в беседу.

– Это давняя история, молодой человек. Очень давняя... – Бибиков откинулся в кресле, и Голубев увидел, что под распахнувшимся пальтецом у него чернеет ветхий смокинг со следом утюга на лацкане, похожим на синяк. – В тридцать третьем году было дело... В парке Горького пустили аэропоезд. Двойная гондола на воздушных винтах. Летала по эстакаде со скоростью немислимой! Изобретение Вальднера Севастьяна Севастьяновича. Тогда тому изобретению не было подобных в мире...

– Треугольник устойчивости Вальднера, – пробормотал пораженный Голубев.

– Слышали, молодой человек! – обрадовался старик. – Мне тогда пятнадцать лет было, я все хорошо помню. Меня отец в гондоле катал, хотя это была только модель. Он работал в специальной группе при Наркомате путей сообщения. Севастьян Севастьянович его ценил... И Туполев Андрей Николаевич тоже там работал. Называлось «Бюро аэропоезда Вальднера». Начинали проектировать пятисоткилометровую трассу в Туркестане...

– А потом? – взбудрил замедлившего речь старикана взволнованный Голубев. Встретить пассажира того легендарного аэропоезда было все равно, что столкнуться с динозавром.

– А потом бюро закрыли без объяснения причин, – тускло проговорил старик, опуская голову и будто проваливаясь сам в себя, как в яму, своими громадными костями. – Причины, впрочем, воспоследовали. Отцу дали двадцать пять без права переписки. Я тоже потом отсидел по той, отцовской, статье, поменьше, правда... Хотя, кто знает, сколько из тех двадцати пяти отец оставался в живых? Упокой, Господи... – Бибиков неуклюже перекрестился и вдруг посветлел: – Ах, какой снег валил зимой тридцать третьего в Москве! Трамваи стояли, замело. А наш аэропоезд взбивал винтами снег, как пух... Отец говорил, что наша модель похожа на летучее семечко, что в нем семена будущего...

Помолчали. Старик улыбался, показывая бело-розовую, сделанную из какой-то кукольной пла-

стмассы, вставную челюсть. Голубев думал: как странно встретить человека с такой же, как у тебя самого, тайной мечтой – и в таких преклонных летах, что кажется, будто собственная жизнь внезапно сжалась и почти закончилась.

– Почему все так? – спросил он совершенно по-детски, надеясь, что старик, которому он по годам годится во внуки, поймет.

– Знаю только, что могло быть по-другому. Могло, – убежденно ответил старый Бибиков, дыша со свистом. – Откуда знаю, и сам не пойму. Я очень долго живу, молодой человек. Так долго, будто уже раз пять умер. Иногда вижу сквозь жизнь, будто сквозь стекло. Вижу: вот здесь развилка, вот здесь... Могло не быть войны... И скоростные поезда давно должны были войти в повседневность... Мы в России сильно зависим от чуда: случится, не случится... Оно тут ходит близко, слишком близко для нормальной жизни, водится, так сказать, в нашем водоеме. Сделать с этим ничего нельзя.

И тогда Голубев задал вопрос, который мучительно волновал его с того самого момента, когда «Россия» отчалила от Казанского вокзала:

– Как вы полагаете, Кирилл Касьянович, доедем мы сегодня до Иркутска?

– Не могу точно сказать, Александр Николаевич, – очень серьезно и уважительно проговорил Бибиков, глядя Голубеву в лицо своими голыми глазами вымороженной синевы. – Но сдается мне, что не доедем.

И сразу вслед за этими его словами раздался первый удар.

Удар был тупой и болезненный, будто пинок по мешку с песком. Разинулся багажный бокс, вывалив куртку.

– Что? Что это было? – зашумели журналисты, привставая с мест.

– Я же говорил, корова на путях! – выкрикнул Бухин, перекрывая гам. – Дашуль, ты чего? Давай отдыхать, ерунда все это...

– А если не корова? – выкрикнула Даша с какой-то внезапной отчаянной злобой. – Да отстань ты от меня, не трогай, не лезь!

– Уважаемые пассажиры, пожалуйста, сохраните спокойствие, – набежал ласковой волной голос стюардессы из динамика. – Мы постоянно получаем данные по трассе с нескольких спутников. Наш поезд движется строго по графику. Через полчаса вам будет предложен горячий ланч.

Но через полчаса всем стало не до ланча. Видимо, закончился участок Транссиба, подготовленный и вылизанный для движения сверхскоростного. Удары следовали один за другим, нехорошей вибрацией отдаваясь в позвоночнике. Теперь сверхскоростной рубил Россию, будто топор мясо. За окном – или это так казалось? – пролетали мокрые ошметки. Журналисты курили, уже не скрываясь, странный стоячий воздух вагона был заплетен, будто призрачным кружевом, синими нитками табачного дыма. Многие безуспешно терзали мобильники. Вагон мотало, синие плафоны на потолке мерцали, как молнии в грозу.

Казалось, что поезд-топор вот-вот вонзится в кость.

– Мы ничего не знаем, что происходит снаружи на такой скорости, – пробормотал старик, вцепившись жилистыми птичьими лапами в подлокотники кресла.

«Точно, – думал Голубев, чувствуя сердце под рубахой. – Действительно, пуля. Пуля-дура. Мы, начинка выпущенной пули, уже никак не связаны с действительностью. В кого попадем, останемся ли сами целы – ничто от нас уже не зависит...»

– Прекрати, надоел, у меня муж есть, между прочим! – услышал он из переднего кресла истерический Дашин голосок.

– Ах, му-уж, – обиженно протянул невидимый Бухин, и спинка его кресла, наполнившись, заскрежетала. – Где у тебя раньше был этот муж, интересно? Муж появляется на сцене, если девушка хочет динаму крутить. Ты меня, что ли, продинамить решила, коза?

Даша всхлипнула. Голубев, скривившись, встал. Старый Бибилов понимающе мигнул и сдвинул в сторону шишковатые колени, давая Голубеву проход. В это время длинная стюардесса, ни на кого не глядя, быстро проюлила в кабину машинистов. Тут же она и еще другая, постарше, с лицом как сладкий сухофрукт, так же быстро, чуть перебегая на ходу, проследовали мимо вылезавшего Голубева во второй вагон, где закупоренно и замкнуто ехали политики.

– А мы-то в первом, коллеги, – озвучил кто-то сзади общие мысли. – Если что, мы первые всмятку...

И тут до Гоши Бухина, поднимающего навстречу Голубеву разгоряченное невинное лицо, дошла вся опасность положения. Сразу же его глаза дивной красоты сделались как у совы, разбуженной в полдень. Снова ударило, прошло по шкуре поезда крепким морозом. У Голубева екнуло в животе, сверху, из раскрытого бокса, на него и на Гошу посыпались батарейки, брошюры, выпали, свесившись, крученые провода.

– Господа, Гоше Бухину плохо! – крикнула за спиной у Голубева какая-то женщина, кажется, из «Московских новостей».

И действительно – словно кто акварельной кистью быстро-быстро прошел по надувшейся Гошиной морде, смывая румянец. Глаза его закатились, тело безвольно обмякло, развалив большие ноги в новеньких кроссовках. Увидав все это, Голубев сам заорал что было мочи:

– Человеку плохо!

В мерцающей полутьме безумного вагона журналисты полезли друг на друга, окружили простертого Гошу плотным кольцом.

– Пропустите, я врач! – слышался за спинами журналистов резкий старческий скрип.

– В сторону, в сторону! На места все садитесь! – Голубев, как мог, теснил упиравшихся коллег, давая старому Бибикову возможность пробиться к пациенту.

Освободившись от огородного пальто, долговязый скелет в смокинге, в котором еле-еле теп-

лилась, блуждая по тряпичным сосудам, капелька собственной жизни, склонился над больным. На лбу у Гоши проступил холодный пот, легкие кудряшки слиплись. Бибиков профессиональным движением нащупал на пухлом запястье бьющуюся нитку, приподнял веко: рыжий глаз вытаращился с веселым ужасом, отливая стеклом.

– Аптечку! Лекарства все, какие есть! – каркнул Бибиков, едва не падая в проход.

Ему уже передавали через головы от бледной, как известь, стюардессы коробку с красным крестом. Расшвыряв нарядные, как бы конфетные упаковки, Бибиков вылутил из простенькой бумажки мелкую таблетку, затолкал ее в усатый мягкий рот указательным пальцем.

– Остановите поезд в ближайшем населенном пункте, – сипло распоряжался он, сдирая пластик со шприца. – У больного шок, скорее всего, обширный инфаркт. Свяжитесь с местной клиникой, машину реанимации прямо на перрон!

– Но... Знаете, мы не можем... – стюардесса пыталась, пытаясь исчезнуть в темноте.

– Начальство зови, дура!!! – заорал на нее неузнаваемый Голубев, топая ногой.

Стюардесса, схватившись за прическу, убежала. Бибиков сосредоточенно тянул из ампулы в шприц упиравшееся студенистое лекарство. Заплаканная Даша, с глазами как у лемура, прижимала к подлокотнику вялую Гошину руку в разодранном рукаве. Бибиков, буквально только что едва не рассыпавшийся от толчков вагона на отдельные кости, вдруг сделался злым и точным, как оса, и вонзил иглу аккуратно в вену больно-

го, едва голубевшую. Лекарство пошло, веки больного задрожали и увлажнились.

– Что тут у вас, отец?

Над Бибиковым возвышался плечистый мужчина в строгом костюме, со стальными глазками, напоминавшими шурупы, вкрученные глубоко и крепко, но с нарушением резьбы. Судя по костюму и короткой стрижке, плотно облегавшей череп, мужчина был из тех, кто охранял депутатов на перроне Казанского вокзала.

– А, так тут у нас пьяный, – заключил мужчина, посмотрев неправильно вкрученными глазками на Бухина, завозившего ногой.

– Инфаркт миокарда на фоне стенокардии, возможно, на фоне высокого сахара, – прокрипел старый Бибиков, с трудом распрямляясь. – Будьте благонадежны, я хороший диагност.

– Да ты, отец, диплом свой получал при царе Горохе, – благодушно произнес мужчина, что-то катая во рту. – Не волнуйся, через три часа уже Иркутск. Там нашего больного осмотрят, протрезвят. Надо будет – составят протокол...

– Не довезем, гражданин начальник! – захрипел старик, как-то по-лагерному, по-собачьи глядя снизу вверх на громадного охранника. – Я не могу купировать приступ!

– Отец, не скандаль, – проговорил мужчина, делаясь строгим. – До Иркутска тихо посиди, просьба к тебе такая от всех. Ты даже не представляешь, у кого на контроле наш сверхскоростной рейс. Въехал? Вот так-то, – с этими словами мужчина повернулся и авторитетным шагом двинулся в сторону депутатского вагона.

– У вас там что, товарищ Сталин на проводе?!! – выхаркнул старик в плотную спину охранника, потрясая шишковатым кулаком с зажатым в нем одноразовым шприцем.

В ответ охранник, не оборачиваясь, только повел одним квадратным плечом. Захлопнулась дверь. Журналисты, с лицами как мерцающие пятна, молча глядели на старого Бибикова, у которого на голом черепе встали дыбом, будто только что выросли, редкие прозрачные волосины. Все дрожало в вагоне, за спиной у Даши, на иллюминаторе, трепетала и ползла, сдираемая скоростью, какая-то бурая клякса. И тогда Бибиков, задрав полумертвое лицо к электрическому грозовому потолку, выкрикнул режущим фальцетом, точно сдавленная со страшной силой игрушка-пикулька:

– Чуда! Господи, чуда!

Дернуло. Повалило вперед. На табло словно бы нехотя выползла цифра «650 км/час» и сразу следом за ней – «600».

Поезд тормозил. Он тормозил тяжело и страшно, будто зарывался, погружался каменной субмариной в земляную толщу. От многотонного скрежета закладывало уши. Журналисты, хватаясь друг за друга, спотыкаясь о разбросанные вещи, полезли к креслам. Даша, всхлипывая и подвывая, пристегивала тяжеленного, сползающего на пол Бухина. Голубев уволок на место негнущегося Бибикова, обеими неверными руками заправлявшего в распяленный рот искусственную челюсть.

Если бы кто-то, хотя бы тот же Голубев, мог наблюдать за торможением с малой самолетной

высоты, он бы увидел, что на путях, лоб в лоб растущему вдали, будто сунутая в воду чадная головешка, локомотиву «Россия», стоит изоржавленный короткий поезд с останками самолетных турбин на голове. Поезд был безжизнен и глух, только фыркали мелкие острые птицы, вероятно, свившие в левой турбине гнездо. Неизвестно как оказавшийся здесь, этот поезд был, однако, более реален, чем подползавшая к нему, как к зеркалу, слоившаяся в мареве нагретого воздуха, шипящая зернистой шкурой раскаленная машина. Локомотив «Россия», едва не выгибаясь гусеницей, гасил остатки скорости, страшный рубильник его, с какими-то прикипевшими ошметками, точно на кухонной посуде, уже практически въехал в провалившийся нос локомотива-близнеца. Время, разделявшее два чудо-проекта, сжалось до последнего предела, выгнулось зыбкой, слоистой воздушной линзой и медленно исчезло. Пышущая «Россия» замерла в сорока сантиметрах от катастрофы.

Тотчас поднялись – не то по команде машинистов, не то сами по себе – толстые, жаркие, как горелые лепешки, двери вагонов. Голубев, тронув за плечо пластмассово и криво ослабленного Бибикова, поковылял смотреть. Из наружного солнечного мира на него напахнуло живым, настоящим на хвое смолистым воздухом, щебетом птиц. Прыгать из вагона было высоко, ярко-синий гравий внизу, словно смерзшийся от обилия света, был покрыт ледяными пятнами – вероятно, игравшими в ослепленных голубевских глазах.

Проморгавшись, Голубев осмотрелся. Прямо против него, сверкая сложной, слоистой, точно солью посыпанной кладкой, поднималась скала. Наверху, среди тугих, словно образованных пушечными выстрелами, кучевых облаков мотались густые и рваные сосновые шапки, за скалой проглядывало озеро, перетянутое посередине полосой живого серебра.

– Урал, – произнес кто-то замороженный за голубевской спиной.

Голубев кивнул и спрыгнул, подняв белесую каменную пыль. Вдоль горячей «России», с хрустом втыкая ботинки в сахарный гравий, торопился низенький мужчина в превосходном сером костюме, со скептической миной на круглом вспотевшем лице.

– В этом вагоне врач? – закричал он наверх.

Сощуренного Бибикова вывели под руки.

– На связи медицинский вертолет, говорите! – проорал мужчина, вскидывая в толстой руке усатую рацию.

Бибиков цапнул черную коробочку, заткнул одно обомшелое ухо прямым, как карандаш, указательным пальцем и принялся неразборчиво каркать, повернувшись к Голубеву спиной. Голубев глубоко вздохнул. Он еще не видел на путях ржавую причину остановки, которую уже всю снимали и фотографировали расторопные коллеги. В густой небесной синеве нарастал, заполняя пространство, шум вертолетных винтов.

НОРКОВАЯ ШАПКА В.И. ПАДЕРИНА

Это только по календарю было начало весны. После сырого февраля вдруг ударил мороз, превративший тощие серые сугробы в покореженное железо, да и в Москве, куда Виктор Иванович Падерин отбывал в командировку, температура опустилась ниже минус двадцати. В глухом бессолнечном воздухе сверкали металлические искры, у закутанных цветочных торговцев, все-таки вылезших на привокзальную площадь по случаю 8 Марта, целлофановые кульки с товаром были белы, как сосульки. «Хорошенький праздник», — думал Виктор Иванович, пытаясь на бегу опустить заскорузлые уши старой норковой шапки. По морозу его неновый автомобиль — когда-то престижный и продвинутый «ниссан» — категорически отказался заводиться, и Виктор Иванович опаздывал.

Было неприятно и странно провести всеобщий праздник в вагоне — хотя, с другой стороны, какое отношение имеет Международный женский день к совершенно свободному мужчине? То есть

у Виктора Ивановича имелась супруга, целиком занятая борьбой со старением, превратившая при помощи кремов свое осевшее лицо в нежный гладенький блинчик и не обращавшая на мужа ровно никакого внимания. Имелась и дочь, очень похожая на мать в молодости, жившая как раз в Москве и на известие о приезде отца хладнокровно сообщившая, что как раз на эти дни улетает в Милан. Имелись, конечно, и левые женщины, относившиеся к Виктору Ивановичу в лучшем случае как к приبلудному псу, которого подкармливают, но миску выносят за дверь. В общем, никто не нуждался сегодня в поздравлениях утекающего из города господина Падерина, а сам он и подавно не хотел никого поздравлять.

Прекрасный пол отталкивала неуспешность Виктора Ивановича. Господин Падерин, к несчастью, завис между пространством относительно благополучным, где действовали люди, именуемые бизнесменами, и так называемыми социальными низами, к которым относилось большинство населения страны. Это было особенное свойство Виктора Ивановича – зависеть между небом и землей, что проявлялось еще на школьных уроках физкультуры, когда Падерин, выполняя упражнение на снаряде, мог застрять в нелепой растопыренной позе, не понимая, где у него руки и ноги, не сознавая, за что именно держится потной отчаянной хваткой – так что приходилось его снимать, буквально отрывать от снаряда по частям. Теперь, во взрослой жизни, спешить на помощь было некому. Дамы меньше всего изъявляли готовность поддержать неудачника, словно

видели на нем печать с истекшим сроком годности. При этом Виктор Иванович был довольно-таки красив: крепок, татароват, густобров, об острые скулы его, когда он забывал побриться, можно было затачивать ножи. Как многие свободные мужчины, Виктор Иванович был специфически чистоплотен: пятна на его одежде, которые он не умел вывести без женской помощи, были стерильны от прожарки утюгом, старая, когда-то хорошая обувь, дизайном напоминавшая советские автомобили «Волга», блестела при каждом шаге. Норковую шапку, прежде чем надеть сегодня утром, Виктор Иванович почистил манной крупой.

Когда-то эта шапка была дорогой, богатой, холеной и придавала Виктору Ивановичу ту чиновную значительность, по которой распознавалось среди прочего населения провинциальное начальство. Если бы Виктор Иванович двигался по жизни ровно, благоденствовал помалу – возможно, не было бы на нем столь явственной печати неудачника. Но в тридцать с небольшим товарищ Падерин В.И. уже занимал немалый пост в Управлении N-ской железной дороги; кабинет его украшала малиновая ковровая дорожка, в приемной щелкала на пишущей машинке похожая на белку верная секретарша. Были, были баснословные времена, когда пировали после работы, съедая невероятное количество икры и балыков, когда на праздники получали, как брошки, трудовые ордены. Виктор Иванович, правда, не успел стать орденосцем. Единственный наградной

предмет, доставшийся ему, был именной вагонный ключ, так называемая трехгранка, сделанная, конечно, не из железа, а из экспериментального сплава, куда в высоком проценте входили родий и палладий – благородные металлы дороже золота. Такие ключи торжественно вручили к юбилею дороги всему руководящему составу, и Виктор Иванович хранил реликвию, всегда брал ее с собой в железнодорожные поездки. Ключ не только мог пригодиться как удостоверение принадлежности Виктора Ивановича к железнодорожной элите, но и в случае чего отпирает закрытый проводницей туалет.

Эпизод, с которого началось движение товарища Падерина по наклонной вниз, относился к концу прекрасных времен, которыми Виктор Иванович не успел насладиться. Накатывал девяносто второй, предновогодней новостью была грядущая либерализация цен, простой народ метался по магазинам, расхватывая грубые пачки поваренной соли и похожих на крупных насекомых суповых цыплят. Руководство дороги, будучи народом непростым, организовало вывоз остатков продовольствия со склада железнодорожного ОРСа с дележкой на одиннадцать семей.

Чтобы не привлекать внимания сограждан, операцию проводили ночью. Луна пылала в стеклянисто-черном небе, будто пятно пустоты, телебашня под ней напоминала гигантскую железную новогоднюю елку, обвитую красными огоньками. Перед закуржавевшими складскими воротами одиннадцать теплых автомобилей – все «Волги»

и новенькие «Лады» – тихонько урчали моторами, испуская алые и розовые, подсвеченные габаритами, адские дымы. Неузнаваемое начальство переговаривалось шепотом, вздрагивая от храпа собственных шагов и шарахаясь от своих водителей; в сплетении черных древесных теней им чудился охреневший от ельцинской свободы народный контроль. Внутри, при конспиративном тусклом электричестве, счетом делили сухие колбасные палки, вынося их, как охапки дров, и сваливая в багажники; разобрали, с треском мерзлого целлофана, каменные глыбины говяжьей вырезки, разметали на одиннадцать сторон тушенку и рыбные консервы. Загвоздка вышла с шоколадными конфетами, наполнявшими пять больших, ленивых от собственного веса, картонных коробов. Снаружи предательски светало; разделить конфеты поштучно или горстями не представлялось возможным. «Снимай, Витя, поскорее шапку», – скомандовал кто-то из замерзших до селедочной синевы чиновных стариков. Этой шапкой начальник финансовой службы, ответственный мужчина с глазом-алмазом, и вычерпал коробка, ровно утряхивая в мерном норковом ковшике рядные сласти, – пока непокрытая голова товарища Падерина превращалась от холода в тугой и бесчувственный резиновый мяч. Шапку Виктору Ивановичу вернули не запачканную, даже как-то самодовольно похорошевшую, упоительно пахнувшую свежим шоколадом. Разъехались, наскоро простившись в белом свете каленого утра, осторожно ныряя груженными автомобилями в дымную метель.

С тех пор норковая шапка поизносилась и подвытерлась, однако шоколадный запах не выветрился. В шкафу, где она хранилась, стоял неистребимый конфетный дух, с которым ничего не мог поделаться даже самый злой нафталин. Теперь Виктор Иванович надевал свою шапку редко, только в самые сильные холода. Удивительно, но мороз, выжигавший любые запахи, кроме характерного для N-ска запаха железной окалины, только усиливал шоколадные ароматы, от которых рот наполнялся слюной. Запах становился особенно одуряющим, если Виктор Иванович, будучи в шапке, о чем-то напряженно думал или куда-нибудь сильно спешил. Вот и сейчас, пробегая под розовеющей подагрическим морозным румянцем аркой старого вокзала, господин Падерин благоухал, как целая кондитерская фабрика.

Фирменный поезд стоял на первом пути, полосатые красно-бело-коричневые вагоны серебрились, будто гигантские конфеты в одинаковых фантиках. Билет у господина Падерина был не в спальный вагон, как в прежние времена, а в обычный купейный. Рослая проводница, равнодушная, будто заиндевелый рулон коричневого сукна, проверила у Виктора Ивановича проездные документы.

Виктор Иванович надеялся, что восьмого марта вагон пойдет полупустым. Он полагал, что женщин в нем не будет вообще: что им, в самом деле, ехать куда-то, когда надо собирать подарки и всячески вампирствовать? Однако в сумраке купе, которое Виктор Иванович отворил по-хозяй-

ски, с размаху, уже сидели две представительницы прекрасного пола: одна – сухая, рыжая, с бороздами вдоль щек и ярко-малиновым ртом, другая – молоденькая, маленькая, смотревшая припухшими мутными глазищами куда-то в самый темный угол. Пока Виктор Иванович неловко здоровался, ввалилась и третья – громадная, в обледенелых черно-бурых лисах, в забелевших с мороза очках, похожих на две столовые ложки молока.

– С праздником, уважаемые, – произнес господин Падерин подобострастным голосом, который всегда появлялся у него при численном преобладании слабого пола.

– Вас также, – неприязненно ответила рыжая, доставая из сумки потрепанный том.

Но напрасно Виктор Иванович понадеялся, что соседки, попив на дорогу чаю, устроятся читать или уснут. Женщины праздновали. Лежа на верхней полке, Виктор Иванович чувствовал себя в ловушке. Маленький вагонный столик был завален холодной дорожной снедью, полуобглоданными куриными костями, использованными чайными пакетиками, напускавшими на пластик рыжие лужи. Дамы, как видно, решили оторваться по полной, не утруждая себя в Международный женский день ни малейшей уборкой. Они хихикали, хвастали, громко стукались белыми чашками с красным вином, напоминавшим сверху раствор марганцовки. Две старшие подначивали младшую, все время сжимавшую в руке мобильник, позвонить какому-то Диме самой и высказать все.

– Я вот все сказала своему вчера, – сообщала здоровенная очкариха, переодевшаяся в махровый халат с клочковатыми пионами. – Пусть теперь сидит, думает. Привык, что у него жена хорошая. А я вот сделаю в Москве на все деньги грандиозный шопинг, пускай сидит тоскует.

– От мужчины должна быть польза, – внушала рыжая девчужке, но больше себе самой. – Если пользы нет, какие отношения? Ну какие, скажи ты мне ради бога?! Это же бред какой-то получается... Можно подумать, я его люблю!

Застолье тянулось вот уже несколько часов. Время от времени в купе заходила проводница, ее высокая прическа, напоминавшая набитый сеном полиэтиленовый пакет, проплывала у самого лица притаившегося Падерина. Проводница убирала со стола намокший мусор, невозмутимо получала от очкарихи полтинник, сонно произносила: «Девочки, только не курите в купе». Курить беспредельщицы бегали в нерабочий тамбур и возвращались, дружно благоухая табачищем.

Но ни табачный дух, ни распространяемый проводницей запах парикмахерского лака не могли заглушить шоколадные ароматы, исходившие от шапки. То одна, то другая соседка поводила носом, дамы переглядывались и обращали насмешливые лица в сторону единственного мужчины на своем законном празднике. Шоколадный запах был настолько явственным и сильным, что у дам не могло оставаться сомнений: сосед везет полную сумку свежайших шоколадных ассорти, но жалеет коробки поздравить соседок по купе. «Вот попал», – тоскливо думал Виктор

Иванович, пытаюсь завернуться с головой в узенькую вагонную простыню. Нечего говорить, что у него не имелось при себе ни единой конфетки, не было вообще ничего, чтобы бросить раскрасневшимся хищницам. У человека успешного, думал Виктор Иванович, всегда найдется что-то при себе, что годится в качестве подарка. Вот чем отличается успешный человек от неудачника в каждую данную минуту своей счастливой жизни.

– Мужчина, не хотите с нами покушать? – время от времени спрашивала очкастая льстивым голосом сказочного волка. Ноздри ее большого бесформенного носа шевелились и горели малиновым огнем.

На это Виктор Иванович делал вид, что спит – хотя здоровый сон при хохоте и резких голосах, сопровождавших пьянку, был так же неправдоподобен, как отсутствие шоколада в купе, пахнувшем будто кондитерский цех.

Делая вид, что спит, даже похрапывая для маскировки, Виктор Иванович думал свои невеселые мысли. За окном проносилась совершенно зимняя солнечная белизна, мелькали обсахаренные городки, высокие лиловые березы серебрились, будто тончайшая гравировка на металле; время от времени солнечная искра, попадая в глаз, выжигала слезу. Далеко не сразу после эпизода на ОРСовском складе Виктор Иванович Падерин оказался в нынешнем своем положении. Некоторое время даже казалось, будто начался серьезный подъем. При N-ской дороге регистрировались ОАО и ЗАО, Виктор Иванович тоже

сделался солидным хозяйствующим субъектом. Ему принадлежало, помимо прочего, несколько незарегистрированных вагонов-рефрижераторов: эти рефрижераторы-призраки, пузырьками воздуха блуждая по российским железнодорожным артериям, приносили Виктору Ивановичу весьма реальные деньги.

Но вскоре на N-ской дороге сменилась руководящая команда, подставили партнеры, грянули проверки. Виктору Ивановичу, во избежание суда, пришлось отсиживаться в Швейцарии, в снятом на чужое имя горном шале, и он навсегда запомнил скуку, дождь, выплывающих из тумана громадных пятнистых коров, очень похожих на карту России в бывшем его кабинете, отливавшую свинцом тропинку в ресторан. За границей Виктор Иванович потратил намного больше, чем предполагал изначально, а когда вернулся, то обнаружил, что супруга опустошила общий счет, где лежала немалая сумма на дальнейшую общую жизнь. С тех пор супруга почти не разговаривала с Виктором Ивановичем, делая вид, что он до сих пор в Европе. А Виктору Ивановичу пришлось начинать практически с нуля.

Разоренный Падерин хватался за все: пробовал торговать недвижимостью, затеял сдавать квартиры командировочным – но предприятие, помимо воли Виктора Ивановича, быстро превратилось в бордель с большим количеством визгливых, сопливых, клоунски раскрашенных девиц, что повлекло суровый наезд обнаглевших ментов. Времена изменились категорически, прежние деловые связи рвались в руках, будто гни-

лые нитки. Теперь Виктор Иванович занимался – стыдно сказать – детскими игрушками, и не сетями магазинов, а самым мелким оптом, буквально на себе таская из Москвы партии товара. Благодаря полузабытому однокласснику Вовке Ишутину, выплывшему из небытия в косматой робинзоновой бородище и с вонючей сигареткой в золотых зубах, Виктор Иванович смог занять маленькую рыночную нишу: он специализировался в N-ске на «Наборах юного фокусника», всяких других волшебных чемоданчиках и прилагаемых к реквизиту иллюстрированных инструкциях.

Сам Виктор Иванович, к слову сказать, не освоил даже простейшей техники фокуса. Для него все эти плавающие монетки и хитрые шарики, растущие как перепонки между пальцами иллюзиониста, оставались чем-то каверзным и неприятным, способным не только некстати выпасть из рукава, а, пожалуй, и укусить. Ишутин, напротив, необычайно ловко управлялся с реквизитом, особенно ему удавались скользящие манипуляции с деньгами и картами, как игрушечными, так и настоящими. Вовка рулил бизнесом в Москве, не только поставляя товар в магазины игрушек, но и впаривая свои чемоданчики офисному люду под лихим девизом «Удиви начальника!», что иногда заканчивалось действительно большим удивлением руководителя и увольнением самодеятельного артиста. Вовка сделался удачлив, нагл, зубы вставил белые с синевой, бороду сбрил, открыв узкую щучью морду проходимца. Первоначальная теплота от встречи одноклассников рас-

сеялась, и Вовка жал из Виктора Ивановича соки, сбрасывая на него все коммерческие риски.

Собственно, сейчас Виктор Иванович ехал в Москву объясняться с Ишутиним. По условиям договора, Виктор Иванович сделал полную оплату через месяц после поставки товара, но товар не шел, более того – посыпались возвраты с претензией к качеству. И действительно, содержимое наборов из последней партии никуда не годилось. У шкатулки с потайным отделением заедала перегородка, шарики были мятые, будто полежавшие пасхальные яйца, шелковый платок, которому надлежало быть тончайшим и текучим, топорщился от грубых синтетических добавок, и даже так называемая волшебная палочка шелушилась и красила пальцы в ядовито-зеленый цвет. Практически все деньги Виктора Ивановича оказались вложенными в эту неликвидную дрянь. По телефону Ишутин сперва матерился, популярно объясняя, что актов из зажопинских торговых точек ему недостаточно, потом предложил привезти на экспертизу набор с ненарушенной упаковкой. Такой набор обнаружился только один – он и ехал теперь в верхнем багажном отделении, занимая практически весь чемоданчик Виктора Ивановича. Падерин молился, чтобы там, внутри, в плотно запечатанной и обтянутой целлофаном нарядной фольге, все было именно так, как во всех остальных коробках злополучной партии. Однако что-то подсказывало ему, что фирменная упаковка, которую он боялся даже ковырнуть, содержит какой-то самый зловредный и невероятный фокус. Виктору Ивано-

вичу казалось, что он везет в Москву свой нераспечатанный финансовый крах.

Между тем напряжение в купе росло. Женская пьянка достигла неизбежной стадии, когда просто есть и выпивать сделалось скучно, и празднующие дамы захотели развлечений. То одна, то другая соседка заглядывала на неприятельскую верхнюю полку и осторожно трогала якобы спящего Виктора Ивановича, как кошка трогает лапой полумертвую добычу. Собственно, Виктор Иванович принадлежал им по праву Международного женского дня, был обязан одаривать и развлекать, и дамы не понимали, почему мужчина до сих пор бесхозно лежит где-то под потолком. При этом запах шоколада сделался просто-таки неприличным, и исходил он уже не только от шапки, но и от самого Виктора Ивановича. Падерину казалось, что дамы вот-вот набросятся на него и съедят, как шоколадного зайца.

Надо было действовать, как-то спастись. Падерин опасно полез на дно шаткого купе и, конечно, застрял, не в силах оторваться ни от одной из точек опоры, сошедшихся в этом узком пространстве каким-то совершенно неаетропоморфным образом. Разумеется, никто не поспешил Падерину на помощь. Наконец Виктор Иванович обрушился, больно ударившись необутой ступней о чей-то лежавший на боку каблукастый сапог.

— Выпить с нами не хотите? — проговорила рыжая вызывающим тоном, каким, должно быть, начинала дома семейные скандалы.

– Конечно, конечно, я через минуточку вернусь, – с наигранной веселостью ответил Виктор Иванович.

Некоторое время поборовшись с дверью, отражавшей текучим зеркалом его наждачную помятую физиономию, Виктор Иванович вывалился в коридор. Шатаясь в грохоте и качке, обжигаясь холодом заиндевелых нерабочих тамбуров, он добрал до вагона-ресторана, выдержанного в утробно-розовых тонах и пахнувшего едой. За одним столом догуливала, с трудом съезжаясь стопками, осоловелая компания, другие столы были пусты и усыпаны крошками.

– Мне три коробки шоколадного ассорти, – обратился Виктор Иванович к насупленной буфетчице, смотревшей по маленькому подвесному телевизору какой-то мультфильм.

– Все конфеты кончились, – сердито ответила буфетчица. – А вам, по-моему, хватит, – добавила она, потянув курносым носом, из-за которого ее щекастое лицо походило на кукиш.

Виктору Ивановичу сделалось обидно. Можно подумать, он был алкоголик, явившийся, воняя перегаром, за новой бутылкой. Похоже, все его сегодня принимают за шоколадного маньяка. В конце концов, какое миру дело до давних ОРСовских конфетных коробов? Виктор Иванович, кстати, не съел оттуда ни штучки, все как-то моментально рассосалось, кажется, ушло учителям, чтобы они каким-то алхимическим способом вывели из дочкиных двоек четвертные тройки.

– А пообедать я могу? – оскорбленно спросил он буфетчицу, чувствуя спазм голодного желудка.

– Осталась только яичница, – равнодушно произнесла буфетчица, косясь на телевизор.

– Почему так?

– Праздник... – Буфетчица пожалала круглыми плечами и указала взглядом на компанию, собиравшуюся, чтобы расплатиться, тряпичные мелкие деньги.

Яичница на два глазка, которую бухнул перед Виктором Ивановичем нелюбезный официант, была суха, как осенний лист. Пережевывая соленые лохмотья, Виктор Иванович думал о дочери, которая как раз сейчас, если верить ее словам, взлетает из Шереметьево-2 – вспархивает, будто бабочка из-под протянутой руки. А Виктору Ивановичу остается, как всегда, изнанка праздника. Вот как теперь возвращаться в купе, где сидят три захмелевшие фурии, ожидающие человеческой жертвы?

«А надо выбросить шапку», – произнес в голове Виктора Ивановича чей-то посторонний голос, настолько отчетливый, что Падерин непроизвольно потянулся к затылку, ожидая нащупать там свое второе бровастое лицо. Под ладонью не было ничего, кроме колких стриженных волос и небольшой звенящей боли, уютно угнездившейся под угловатым черепом. Виктор Иванович тихо рассмеялся. В самом деле, выкинуть эту подлую реликвию ранней перестройки, чего уж проще. На Казанском купить вязаную шапку-менингитку, в каких все теперь ходят, одинаковые, будто горошины перца. Хотя избавиться от шапки во время движения поезда не так-то просто, как показалось в первую минуту. Куда ее девать? Если

сунуть в мусорный ящик, пусть даже не в своем вагоне, шапка выдаст себя специфическим запахом и изобличит Виктора Ивановича, будто труп – убийцу. Еще, пожалуй, найдется доброт, который притащит ее обратно. Стоп! Виктор Иванович хлопнул себя по лбу, отчего небольшая боль под черепом забулькала. А ключ-трехгранка на что, господа?

Виктор Иванович двигался обратно гораздо более решительным шагом, чем час назад пробирался в ресторан. Теперь он шел по ходу поезда, и ему казалось, что поезд слегка подбрасывает его, будто сковородка горячую оладушку. Он с силой рванул упирающуюся купейную дверь, и, видимо, было в его появлении что-то такое, отчего все три беспредельщицы замолчали и испуганно обернулись.

– Мужчина, вы чего? – с угрозой произнесла очкастая, держа перед собой, как защиту, заварочный чайник, плещущий из носика желтым кипятком.

– А все! – свирепо воскликнул Виктор Иванович, сам не понимая толком, к чему относятся его слова. Он грубо обшарил карманы своего безвольного пальто, зажал трехгранку в кулаке, сорвал с крючка благоухающую шапку и выскочил вон.

Наружная дверь нерабочего тамбура была прокалена морозом. Ее стекло, затянутое инеем толщиной с овчину, было исцарапано курильщиками и протаяно в нескольких местах – но мутно синеющие глазки уже затянула ледяная катарак-

та. Виктор Иванович присел перед дверью, положив злосчастную шапку к себе на колени, но шапка сваливалась, и Падерин нахлобучил ее временно на голову. Запоры жглись, каждое прикосновение оставляло на бледном металле темное, моментально леденевшее пятно. Казалось, запоры схвачены морозом намертво, будто сварены электросваркой. «А чтоб тебя, эту дверь и трактором не вырвешь», — с досадой подумал Виктор Иванович и тяжело привстал, опираясь о дверную ручку, вдруг издавшую пронзительный металлический крик.

Распахнулось и ахнуло.

Через секунду Виктор Иванович перестал понимать, где он и что с ним происходит. Левую руку, державшую дверную ручку, едва не вырвало из плеча, ботинок скользнул и зацепился за что-то под странным углом, и Виктор Иванович повис, в грохоте и свисте, над несущейся бездной. Злая снежная пыль не давала дышать, коркой садилась на лицо, дверь под напором ветра норовила распахнуться пошире, нестерпимо раздирая руки и грудь. Оскаленный Виктор Иванович попытался подтянуться, так, что от отчаянного усилия грудная кость, казалось, полезла наружу, но дверь была нечеловечески сильна, и скоро Виктор Иванович весь онемел, уже не сознавая, за что именно держится, жив он или умер. Перед его полуслепыми глазами, заплывавшими льдом, бежало в мертвой синей белизне встречное полотно. Остатком сознания Виктор Иванович подумал, что опять завис, опять попал, как муха, в неви-

димую паутину, но на этот раз, кажется, не вырваться. И только он окончательно смирился, как из бездны вывалился, округляясь, заливая встречные рельсы, гудящий и радужный свет.

– Девчонки, это наш! Тащи его!

Что-то мелкое и щекотное вцепилось в Виктора Ивановича, потянуло на нем залубеневший свитер. Свет расширялся и уже вбирал сознание, тело отсутствовало, рывки и визги за спиной уже никак к нему не относились. Внезапно бездна захлопнулась, обдав отчаянным гудком, застрочил, озаряя иней, встречный состав, Виктор Иванович оказался на скользком полу, в куче шевелящихся тел, и последнее, что заметил, – раздавленную пачку дамских сигарет.

Он выплыл из помрачения в купе. Кровь бухала в голове, как целое море, мышцы ломило, по коже гуляла колючая щекотка. Виктор Иванович неверной рукой провел по груди, пытаюсь понять, в чем же он одет, но так и не понял, нащупав только все те же колкие мурашки. Что-то твердое упиралось в стиснутые зубы, живительно и сильно пахло коньяком.

– Глотаем, глотаем, вот так, умница, – приговаривал женский голос, исходивший от радужного пятна в сверкающих очках.

Тугой глоток алкоголя жаром разлился в желудке. Высосав чашку до дна, Виктор Иванович протрезвел. Он осознал, что сидит на нижней полке, раздетый до трусов и завернутый в грубое шерстяное одеяло какого-то потустороннего серого цвета. Три беспредельщицы, румяные и рас-

трепаные, смотрели на Виктора Ивановича с жадным любопытством.

– Вот, девушки, какие мы крутые! – восхищенно воскликнула рыжая, у которой съехала на левую щеку яркая помада. – Даже восьмого марта спасаем мужиков!

В дверях купе большой суконной статуей стояла проводница, ее аккуратный ротик был сжат в красную черту.

– Ну что, очухался, прыгун? – произнесла она, заметив, что пассажир смотрит. – Сейчас вызову начальника поезда, будете, мужчина, штраф платить.

– Танька, не гунди, – властно оборвала проводницу очкастая. – Думаешь, человек от хорошей жизни хотел сигануть под встречный поезд? Лучше чаю горячего неси и еще одеял.

– Этих самоубивцев надо еще на раз убивать, чтоб неповадно было, – меланхолически прокомментировала проводница. – Шапку еще зачем-то надел – прыгать, – добавила она через плечо, удаляясь к себе.

Виктор Иванович вздрогнул и заозирался. Шапка, как ни в чем не бывало, лежала рядом с ним на полке, такая мокрая, будто Виктор Иванович сходил в ней под душ.

– Хорошо еще, что голова была покрыта, а то простыли бы совсем, – рассудительно проговорила молоденькая, чье круглое личико напоминало подтаявший пломбир. – А вы правда хотели под поезд? А из-за чего?

– Из-за какой-нибудь стервы вроде нас с вами, – хрипло сказала рыжая, забираясь на полку

с ногами и туго натягивая на колени гладкую юбку. – Девочки, дорогие, если человек проводит праздник в поезде, значит, жизнь у него не сахар и народ вокруг него – сволочь. Зачем выяснять подробности?

Глаза у Виктора Ивановича увлажнились и сразу заболели так, будто их накачивали изнутри, из кипящего мозга.

– Спа... Спа... – вылепил он непослушными губами, обметанными дрожью.

– Да пожалуйста! – рассмеялась рыжая, показывая длинные желтые зубы, похожие на щепки.

– Так, – очкастая плотно уселась на полку напротив Виктора Ивановича. – И что теперь делать будем?

– А что вы хотите? – просипел Виктор Иванович, странно теперь свободный и готовый на все.

– Мы праздновать хотим, – ответила за всех молоденькая, серьезно глядя на Виктора Ивановича дымчато-серыми мокрыми глазищами. – Женского праздника осталось... – Она раскрыла свой украшенный стразами глупенький мобильник, так ни разу за этот день не зазвонивший: – Четыре часа пятьдесят минут!

– Тогда достаньте сверху мой чемодан, – смиренно попросил Виктор Иванович. – Не бойтесь, он легкий. Только шоколада там нет, – на всякий случай добавил он, прикрывая шапку складкой одеяла.

– Ну, вы и шутник, – усмехнулась рыжая, легко вскакивая на полке и дотягиваясь длинной веснушчатой рукой до ручки падеринского чемодана.

Чемодан и правда почти ничего не весил, поскольку содержал в основном коммерческий воздух. Его спустили без проблем, и Виктор Иванович, стыдясь своих неновых ссохшихся носков, составлявших единственное взятое в дорогу имущество, сам открыл заедающую молнию. Когда в его слегка дрожащих руках оказалась коробка, украшенная серебряными и малиновыми звездами и изображением лощеного цилиндра, из которого золотая палочка, искря, выманивает опасливого зайца, – все три спасительницы заплодировали.

– Ой, вы артист? – спросила молоденькая с детской надеждой.

– Нет, не артист, – вздохнул Виктор Иванович, придерживая на себе спадающее одеяло. – Вместе будем учиться. Ну что ж, поглядим...

Он погладил влажной ладонью ненарушенную упаковку, и сердце его точно глотнуло холодной воды. Перед внутренним взором Виктора Ивановича возникла длинная щучья морда Вовки Ишутина. Глумливые Вовкины глаза смеялись. «А катись ты!» – мысленно послал его Падерин и, приняв от рыжей маникюрные ножницы, аккуратно вскрыл.

Отошел, наполняясь зыбким воздухом, нежный целлофан, упала на пол узорная фольга, с легким сказочным звоном поднялась тисненая крышка. Так и есть. Виктор Иванович так и знал. Знакомый до боли реквизит был яркий, хорошо сработанный, и волшебная палочка даже играла мелкими золотыми искрами, чего не встречалось ни в одной из более удачных партий товара. Вик-

тор Иванович криво улыбнулся, потом захохотал, сотрясаясь всем телом и кашляя. Теперь его поездка в Москву с одними носками в пустом чемодане становилась праздным приключением. Но Виктор Иванович чувствовал, что, вскрыв коробку для своих полупьяных спутниц, он каким-то образом победил подлого Ишутина, исчезавшего из мысленного взора, из воспоминаний и из жизни Виктора Ивановича, точно его никогда и не было.

– Покажите фокус, – заворуженно прошептала молоденькая, сложив узкие ладони перед грудкой.

– Тут инструкцию надо читать, – попытался отговориться Виктор Иванович.

– Да не надо! – хором воскликнули очкастая и рыжая, отбирая у Падерина глянцевою брошюрку.

– Здесь шляпы почему-то нет, – озадаченно проговорила молоденькая, заглядывая в коробку. – А давайте вашу шапку! – и она, нисколько не стесняясь, вытащила из-под Виктора Ивановича мокрый, настырно пахнувший какао головной убор.

Вид у шапки был побитый и нахальный. Левое мягкое ухо ее топорщилось, будто шапка подслушивала. Молоденькая, под смех и возгласы подружек, накрыла шапку нежнейшим шелковым платком, сиявшим теми же серебряными и малиновыми звездами, что и оберточная фольга.

– Теперь берите палочку! – скомандовала она Падерину.

– Может, вы? – засмутился Виктор Иванович.

– Но ведь это ваша палочка, – серьезным голосом произнесла девчонка, и в ее словах была какая-то глубокая логика, против которой Виктор Иванович не нашелся возразить.

От палочки по пальцам побежало веселое электричество. Виктор Иванович неуклюже поводил палочкой над шапкой, будто ложкой помешал опасное варево. Но вдруг палочка сама заиграла и выписала в воздухе замысловатый вензель. Виктор Иванович, очень удивленный, запустил руку под платок и удивился еще больше, нащупав в текучей пустоте что-то шершавое. Медленно, не веря собственным глазам, он вытянул из шапки за длинные уши громадного шоколадного зайца, никак не могущего там поместиться. Заяц, одетый в фольгу, был скуласт, татароват и очень походил на самого Виктора Ивановича, застывшего над шапкой с разинутым ртом.

– Ну, ты посмотри, какой маэстро! – вскричала очкастая, громко шлепая себя по коленкам.

– А говорили, что нет шоколада! – взвизгнула молоденькая и бросилась целовать потрясенного Виктора Ивановича в колючие соленые щеки.

Празднование Международного женского дня затянулось за полночь. Двухлитровый шоколадный заяц оказался с ликером, потом проводница Танька приносила еще какие-то бутылки. Утром, на Казанском, гражданина Падерина сняли с поезда мертвецки пьяного и с двусторонним воспалением легких. Его отвезли в дежурную больницу, где никому не помогающие стены были грязно-глинистого цвета и в извилистых трещинах,

похожих на древесные корни, так что больному казалось, будто он уже опущен в яму и готов к отправке. Виктор Иванович долго лечился, потом бесконечно долго мыкался, пытаясь преуспеть там, где преуспевание было невозможно. В его жизненной истории по-прежнему было много печалей и скорбей – впрочем, как и у всех нас.

А старая норковая шапка еще долгие годы верно служила своему владельцу – и больше не пахла шоколадом.

ВЕЩЕСТВО

Все вокруг, насколько хватало глаз, было зелено, мягко, покойно, напоено полуденным солнцем. Низкий среднерусский горизонт, с залеганием по самому краю пасмурно-синих облаков, оставлял очень много места открытому небу, в котором звенел, обозначая зенит, невидимый жаворонок. Цвели корявые яблони; аисты подновляли громадные, слежавшиеся за зиму замшелыми сучьями, старые гнезда; в тишайшей речке Суругже, все норотившей заплыть от глаз под кусты, плескалась усатая крупная выдра; два городка, Горошин и Льговск, лежали между мреющими холмами, поодаль друг от друга, напоминая детские стеганые одеяльца с разбросанными по ним игрушками.

В самом центре этого дивного дня, из тех, что выпадают иногда на долю и не очень счастливой местности, ревел, разрывая реальность, багровый мираж.

Горели, дрожа и расплываясь в потоках раскаленного воздуха, опрокинутые вагоны сошедше-

го с рельсов товарного состава. Видимо, те же роскошные весенние дожди, что напоили и подняли всю эту цветущую зелень, подмыли полотно. Сыграли роль и паводки: снег в этом году лежал такой большой, что пассажирам железной дороги казалось, будто на месте занесенных деревенок ничего нет, только немного подкопано лопатой. Таяние было бурным; ручьи, будто гремучие цепи, изрезали склоны оврагов; тихоня Су-рогжа унесла и разбила четыре рыбацкие лодки. Все это привело к тому, что тяжелый товарняк сбил на повороте с мерного шага и вздыбился, будто пьяная гармонь.

Начальник управления оперативного реагирования областного МЧС полковник Забелин получил сообщение о сходе состава через полчаса после происшествия. Ситуацию, конечно, нельзя было назвать рядовой, но и на большую катастрофу она не тянула. Горели всего четыре вагона из пятидесяти восьми. Сначала выломались, со страшным скрежетом искривленного металла, первые три, потом туда же косо потрухала, увязая колесными парами в травянистом скате, цистерна бензина, именно она и вспыхнула. На место выехал пожарный поезд, два ремонтно-восстановительных поезда и две бригады спасателей. По счастью, обошлось без человеческих жертв. Сильнее всего пострадал сопровождающий военного, опять-таки, по счастью, не взрывчатого, груза, горевшего как-то неохотно, попыхи-вая и сопя, словно засыпая. У сопровождающего был открытый перелом правой руки и сотрясение мозга.

Полковник Забелин Геннадий Андреевич видел за годы службы всякие виды. Видел он лесные пожары в Забайкалье, катившиеся огненной стеной, за секунду слизывая гигантские пихты; видел сходы снежных лавин на Памире, невинно похожие на убежавшее молоко, но с пушечным громом поглощавшие поселки. Полковник Забелин редко волновался. Внутри у него был как будто встроен стабилизатор, низкий центр тяжести, не дававший даже покачнуться; в экстремальных ситуациях только ноги полковника тяжелели, а голова оставалась ясной, словно вознесенной над облаками.

При этом внешность у Геннадия Андреевича была никакой не героической, а даже скорее карикатурной. Крестьянский сын, пятый ребенок в семье, где и у отца, и у матери было по множеству братьев и сестер со своими детьми, Геннадий Андреевич был словно сделан из вторичного материала. Толстый пористый нос был дедов, небольшие глаза цвета позеленевших медных пуговиц принадлежали дяде Николаю, сухой рыжеватый волос — тетке Наталье, мелкие чечевичные родинки, усыпавшие плотное тело полковника, все целиком достались от матери, рано умершей. Все, из чего состоял Геннадий Андреевич, кто-то до него уже носил, части были грубо, но крепко сшиты, и полковник, не будучи красавцем, никогда не жаловался на здоровье. Родом он был из городка Горошина; когда после девятнадцати лет службы в Забайкалье и Сибири ему удалось перевестись на малую родину, Геннадий Андреевич почувствовал умиротворение. Кроткий нрав при-

роды и отсутствие глобальных техногенных факторов в этих бедных краях обещали полковнику мирную служебную рутину и достойный выход в отставку. И сейчас, отдавая штатные распоряжения, полковник был уверен, что пожар четырех вагонов максимум способен отравить продуктами горения сотню-другую полевых мышей.

Через час он уже так не думал. Геннадий Андреевич сидел в вертолете, несущем его в Горошин, и видел будто сквозь прозрачную зыбь зеркальные петельки Сурогжи, сошедшие с путей цистерны размером с электрические батарейки и маленький красный костерок, пускающий в небо дымную нить. Полковник Забелин получил приказ срочно организовать в Горошине штаб по ликвидации последствий катастрофы. Также он получил распоряжение своего командира, генерал-майора Аверинцева, принять в штабе гражданское лицо, которое не предъявит никаких документов и представится Иваном Ивановичем Ивановым, и оказывать данному лицу всемерное содействие. Распоряжение было отдано устно при закрытых дверях, и вид у генерал-майора был такой, точно его с ужасной силой огрели чем-то плоским по сутулой стариковской спине. Должно быть, вид полковника, ступившего из вертолета на родной, набухающий жизнью горошинский чернозем, был нисколько не лучше; ноги Геннадия Андреевича были тяжелы, будто у каменной статуи.

Под штаб срочно реквизировали здание Первой горошинской гимназии, выходящее длинным краснокирпичным фасадом на главную площадь,

мощенную истертым булыжником. В кабинете директора, возле высоченного тусклого окна, прибывшего полковника уже ожидал человек. Одного взгляда на него полковнику было достаточно, чтобы понять: это он, тот самый.

– Иванов, Иван Иванович, – сухо отрекомендовался гражданский, протягивая для пожатия ладонь, поросшую с тыла редкими волосками, а изнутри удивительно белую, словно светившуюся пятном. – Я представляю грузоотправителя возгоревшегося разрядного груза. Большого вам знать обо мне не следует.

Полковник Забелин с силой сдвинул протянутый ему предмет. На узком лице Иванова не отразилось ровно ничего. Он был странен, этот так называемый Иван Иванович. Длинный, худой, в недорогом поношенном костюме и в серой рубашке с курчавой ниткой вместо верхней пуговицы, он, казалось, был задуман и создан для того, чтобы на его лысоватой пятнистой голове расцвели эти необыкновенные уши. Тонкие, полупрозрачные, мрамористые, устроенные на сложном каркасе, эти уши могли бы принадлежать сказочному розовому слону.

– Что я должен знать о вашем грузе? – неприязненно спросил полковник, стараясь не смотреть на рдеющее чудо природы.

– Пожар нельзя гасить ни водой, ни порошком, только пеной, – быстро ответил Иванов и глянул на полковника так, что у Геннадия Андреевича прошел по хребту холодок.

Вызвав по рации пожарный поезд и выяснив, что пену уже подвезли, полковник Забелин занял

обитый потертой стеганой кожей директорский трон, а Иванову указал на стул, где обычно сидели вызванные для разноса учащиеся, где пацаном сживал он сам, с тоской рассматривая синие обои и заманчивые, как пряники, печные изразцы.

– Груз, назовем его вещество, сам по себе абсолютно неопасен, – начал Иванов лекторским тоном, выдававшим в нем обыкновенного препода. – Вещество неагрессивно, не взрывается, горит едва-едва, во всех смыслах инертно. Но! – тут Иванов поднял вертикально вверх сухой, словно обглоданный, указательный палец. – В соседнем с веществом вагоне, тоже возгоревшемся, везли свинцовые чушки. Пары вещества вступают в реакцию с парами свинца и дают соединение чрезвычайно токсичное. Оно обладает зверской валентностью, поражает нервную систему человека и млекопитающих, а для многих видов насекомых служит мутагенным фактором. Соединение распространяется по воздуху, через грунтовые воды, а главное – через мух и комаров, которых здесь скоро будут тучи. В общем... – Иванов глянул на полковника полными простого человеческого страдания прозрачными глазами. – Картина такая, что через четыре месяца здесь не останется ничего живого.

Полковник вытаращился, не чуя в стиснутых кулаках резных подлокотников. За окном сливовое деревце стояло в таком густом и плотном цвету, что каждая ветка была будто пломбир на палочке. Вот так сходят с ума, подумал полковник, встряхивая головой.

– Какова зона бедствия? – спросил он хрипло.

– Сегодня трудно сказать, – болезненно поморщился Иванов. – Насекомые-мутанты активно размножаются, но долго не живут. Многое будет зависеть от силы и направления ветров, количества дождей. В любом случае это несколько тысяч квадратных километров. Но скорее всего, весь центр и юг России будут повреждены.

– Надолго? – спросил полковник Забелин, совершенно пустой внутри.

– Лет на двести – двести пятьдесят.

Тут впервые за все годы трудной службы, вообще впервые за жизнь, полковник Забелин ощутил желание убить человека. Это было физическое чувство, похожее на тягу к женщине: полковник с вожделием смотрел на хрупкий подвижный кадык этого Иванова, на его тонкокожий и тонкокостный череп, который сомнется, как яичная скорлупа, если этак славно хрястнуть по нему мраморным пресс-папье.

– Значит, неопасный груз... – прорычал полковник, сдерживаясь. – Но вы обязаны были указать в сопроводительных документах, что его нельзя со свинцом!

– Если бы я в открытом документе расписал все, что не должно при транспортировке происходить с нашим грузом, это натолкнуло бы вероятного противника на формулу вещества, – с достоинством ответил Иванов. – А формула составляет государственную тайну.

– Так и перевозили бы свои вещества на самолетах, специальными рейсами! Почему вы этого не делаете?

– Потому же, почему я не остановился в вашем областном центре в отеле «Плаза», – невозмутимо парировал Иванов, закидывая ногу на ногу и демонстрируя стоптанный башмак.

Полковник Забелин Геннадий Андреевич привык действовать. Эта привычка спасала его сейчас, когда делать что-либо было почти бесполезно. Оглушенный, с носом как баклажан, он толково руководил вверенными ему людьми и техникой, толково взаимодействовал с начальством из Управления дороги, поставившим штабной вагон в одном из тупичков разбуженной от пыльной дремы горошинской станции. Уже на другое утро силами железнодорожников и собранных со всех окрестностей пяти пожарных расчетов огонь был потушен. Теперь место возгорания представляло собой громадную скользкую гору оплывающей пены, как если бы облако из своей воздушной стихии выбросилось на сушу и умирало, разлагалось с тихим шепотом под прямыми лучами ясного солнца. От пенной горы расплывалось по почве, по траве мокрое пятно, образуя жирное болотце; как только пенная туша оседала до видимых очертаний сгоревших вагонов, пожарные добавляли к серому осадку сливочно-свежую верхушку.

День и ночь восстановительные поезда растаскивали, будто дохлую гусеницу, упершийся колесами в хаос грузовой состав. Краны движениями богомоллов ставили на рельсы пустые, высосанные досуха цистерны; полый грохот и лязг разносился по всей округе. На место катастро-

фы прибыла рота химзащиты, прилетели специалисты МЧС из Москвы. Ждали министра. Тем временем подтянулась и серая команда господина Иванова. Чем-то неуловимо похожие на крыс, разработчики вещества заняли все левое крыло гимназии и развернули там свои лаборатории. Ни у одного из этих людей, одетых, как и Иванов, в поношенные, лоснящиеся на локтях штатские костюмчики, не было при себе документов, удостоверяющих личность. Полковник Забелин подозревал, что даже на одежде секретных разработчиков, никогда не улыбавшихся крепко сжатыми, словно заклеенными, ртами, отсутствуют метки производителей.

И подчиненные полковнику специалисты, и серые, подчиненные только господину Иванову, неустанно брали пробы воздуха, воды и почвы, баламутили Сурогжу, лезли в огороды, проходили, как саперы, подернутые зеленью сизые поля. Самое интересное – полковник Забелин понятия не имел, что именно следует искать. «Когда обнаружите, сразу все поймете», – сообщил бессонный и помятый Иван Иванович, тоже корпевший, в окружении своих Ивановых, над анализами проб. Налитый до самой лысой макушки своей секретностью и словно запечатанный сверху большим, сургучного цвета, родимым пятном, Иванов был исполнен решимости не выпустить сквозь зубы ни единой молекулы информации, держать все в себе до последней возможности. Анализы между тем не показывали ничего, кроме остаточных пестицидов. Это сильно действовало полковнику Забелину на нервы. Он не знал, что

говорить журналистам, налетевшим из области и из обеих столиц, напоминаям со своими телекамерами назойливых, здоровенных, мутировавших комаров. Релиз, обнародованный прессслужбой МЧС, представлял собой такую невнятицу, что полковник еле выучил полтора десятка обтекаемых фраз.

Самой главной задачей была немедленная эвакуация жителей Горошина, Льговска и еще пятнадцати населенных пунктов. По горбатым улочкам обоих городков без конца колесили МЧСовские «нивы» с мегафонами на крышах, оглашая окрестности лающим оповещением; им отвечали из-за заборов косолапые, с ватной шерстью, местные собаки. На главной площади Горошина, взяв в квадрат черненький, точно облитый дегтем, памятник Ленину, пылились и раскалялись под солнцем пустые автобусы. Городки затаились. Окна вросших в косогоры частных домишек и стоявших вкривь и вкось пятиэтажных хрущевок были задернуты изнутри белесыми занавесками, точно везде и разом кончился какой-то фильм. Никто не ходил открыто по узким, разрушаемым травой тротуарам – обитатели пробирались задами, двориками, дровяными лабиринтами, которых и в Горошине, и в Льговске имелось великое множество. С самого момента объявления эвакуации местных жителей можно было видеть только издалека: то протарахтит по рыжей полевой дороге мотоцикл с коляской, то обрисуетя в укромном речном изгибе неподвижный рыбак, ловящий удочкой, словно антенной, медленные токи обреченной воды. Чаще всего горо-

шинцы и льговцы визуально фиксировались на своих безразмерных огородах, где они занимались самым бесполезным в сложившейся ситуации делом: посадкой картошки.

В первый день эвакуации из Горошина удалось отправить только один автобус: уехали, собранные через детскую поликлинику, зарезанные мамы с грудничками. На следующий день в Горошин и Льговск для помощи в эвакуации прибыли на трех десятках грузовых «Уралов» солдатики внутренних войск. Командование военного округа, получившее по своим каналам чрезвычайную информацию, отреагировало сообразно своему разумению: придало взвэшникам для усиления танковую роту. Колыхаясь на косогорах броневыми чадными блинами, раскаленные Т-80 распирала собой узкие улочки, стесывали углы белых низеньких строений позапрошлого века, мололи в сок молодую зелень, валили ларьки. Грозные, но совершенно бессильные перед незримо расплывающейся в воздухе заразой, танки были слышны по всей округе, собиравшей звуки, точно капли в чашку. Солдатики, молоденькие первогодки в потном хэбэ, похожие в респираторах на детишек, наряженных на елку ежиками и мышами, колотили во все ворота, рассыпались по подъездам хрущевок, вытаскивали гражданское население полуодетым, с комьями пожиток, волокли обвисавших старух. К вечеру удалось кое-как, с плачем и матюгами, отправить еще десяток автобусов. Пылящие густой медовой пылью, переваливающиеся с холма на холм, эти автобусы долго были видны на низкой местности, словно

державшей всю себя и все свое на ладони, бесконечно продлевающей собственное прошлое, но уже обреченной исчезнуть. Отвлечешься, займешься делами, потом нечаянно глянешь – а эти автобусы все еще здесь.

Полковник Забелин через каждые два часа вызывал по рации командира роты химзащиты капитана Нестеренко.

– Ну что, нашли что-нибудь? – спрашивал он без предисловий.

– Никак нет, товарищ полковник! – бодро рапортовал Нестеренко, но в этой бодрости слышались растерянность и злость.

Непохоже было, что Иванов Иван Иванович водит эмчээсников за нос. Он сильно измочалился за последние дни, его удивительные прозрачные уши увяли и стали похожи на тряпки. Иванов со своими серыми копался в самом очаге, возле непрерывно подновляемой пенной горы; когда он, пройдя через жесткий, как миксер, дезинфицирующий душ, стягивал с себя защитный комбинезон, внутри канареечно-желтой резины тоже хлопала вода.

– У меня нет ответов на ваши вопросы! – кричал он, едва завидев полковника Забелина.

Между тем полковник чувствовал, что между ним и Ивановым установилась невидимая связь, какая бывает между влюбленными. Геннадий Андреевич каким-то образом ощущал, далеко или близко находится Иванов и в какой стороне. Утро полковника Забелина начиналось с мысли, что сегодня он непременно и несколько раз встретит

Иванова. То был род вожделения, жгучего сосредоточения на малокровной потаенной жизни, циркулирующей под тонкой, ссохшейся мелкими морщинками кожей секретного разработчика. Геннадий Андреевич его хотел. Убить. И по-настоящему не видел причины, почему бы ему не утолить эту страстную жажду.

Сперва, конечно, разум полковника противился. Но Иванов уже сыграл слишком большую роль в судьбе Геннадия Андреевича Забелина, чтобы не стать окончательно человеком его судьбы. Геннадий Андреевич не мог вообразить своего доживания с этим мертвым пятном на месте дымчатых, переложенных кудрявыми перелесками, среднерусских холмов, где он родился и вырос. Вся остальная большая Россия, со всей ее тайгой, со всеми реками, горами, городами, не сможет заполнить пустоту, а скорее сама в нее рухнет. Геннадий Андреевич видел весь остальной мир запекшейся кромкой этого пятна. Жить на кромке, на краю, он понимал, будет невозможно. Скоро все здесь засохнет, покроется ядовитой коростой, и никакого человеческого долголетия не хватит, чтобы дождаться первого зеленого ростка. И ведь только полковник Забелин устроился. Только получил хорошую квартиру, прикрепил жену к хорошей поликлинике. Теперь все пропало. Все переменялось настолько, что сделаться еще и убийцей стало совсем несложно.

В отличие от солдатиков и их командиров, Геннадий Андреевич хорошо понимал, почему горошинцы и льговцы не спешат в автобусы. Здесь испокон веков было устроено так, что человеку не

хватало внутренних сил на свою отдельную жизнь – зато все внешнее, холмистое, пологое, смиренно цветущее, входило в него и восполняло недостаток собственных токов бытия. Лишившись этой подмоги, местный житель просто не умел вместить душой каких-то других пейзажей и обстоятельств существования. Жизнь горошинцев и льговцев, с ее безденежьем, старыми телевизорами, кривой полусъеденной посудой, дощатыми удобствами на покатых огородах, вовсе не была завидна. Но, лишившись своего, местный житель оказывался настолько беззащитен, что предпочитал теперь оставаться на месте с последней и всегдашней верой в ошибку начальства.

Полковник Забелин, повидавший и послуживший, мало чем отличался в этом смысле от своих земляков. В его голове, бесформенной, точно битой изнутри кулаком, как выбивают, чтобы надеть, старые шапки, без конца прокручивалась схема, уже автоматически включавшаяся от малейшего толчка. Полковник с болезненной отчетливостью представлял, как вагон с веществом, отправленный из-под Новосибирска, и вагон свинца, отгруженного Краснокурьянским метзаводом, неумолимо сходятся через пять сортировочных станций, как они движутся в одном составе, как они переворачиваются, и именно к ним же сползает стоявшая почти в хвосте состава, учинившая в итоге пожар, цистерна бензина. Та часть железной дороги, по которой стянулись в роковую точку ингредиенты катастрофы, вероятно, закрепилась в мозгу полковника в виде отдельной нейронной цепи.

Геннадий Андреевич понимал, что вины железнодорожников не было никакой и что полотно подмыло объективно. И все-таки в этом стечении, стягивании было что-то настолько невероятное, что если бы на месте схода вагонов нашли остатки взрывного устройства, полковнику было бы легче. Так, по крайней мере, обнаружались бы признаки умысла, человеческой воли. Полковник Забелин знал, что почти во всякой катастрофе несколько обстоятельств сходятся один к одному, иногда бывает и смех, и грех, и задним числом мерещится, будто все было сделано умышленно. Выясняется: вот здесь бы полметра влево, здесь бы не потянуло ветерком, здесь бы не коротнуло провода – и ничего бы не случилось. Но будто какой-то режиссер всегда управляет такими событиями, и полковник Забелин всю жизнь хотел узнать фамилию этого режиссера и поступить с ним по строгости закона. Сейчас, однако, он обращался к бесфамильному режиссеру заискивающе, мысленно просил того как-нибудь задним числом ошибиться, и сам был готов подсказать вероятную точку ошибки, но не видел, где. С точки зрения рока катастрофа была устроена безупречно. От этого у Геннадия Андреевича тихо слабели коленки.

Но факт, что полковник Забелин родился и вырос в Горошине, давал ему на этом театре некоторые оперативные преимущества. Геннадий Андреевич знал один укромный овражек, буквально в семи минутах хода от главной площади. Густо заросший лещиной, с дрожащим бурым ручейком под низкими ветками, овражек не выпускал из

себя ни единого звука, а лепившиеся здесь же старые дровенники, относившиеся к давно снесенному барачному жилью, идеально годились для того, чтобы спрятать тело. Полковник Забелин сильно рассчитывал на неразбериху, неизбежную при тотальной эвакуации, ну, а потом, когда на Горошин, зудя мушиной тучей, опустится смерть, лишний комплект человеческих косточек, гниющих за сопревшей поленницей, уже ни у кого не вызовет вопросов.

Полковник Забелин, дыша со свистом, топал каменными ногами по безлюдным улицам Горошина. Здесь все было так близко, будто в комнатах дома, что пользоваться приданным лично полковнику внедорожником «сузуки» не имело смысла. По инструкции, личному составу давно полагалось передвигаться по зоне заражения в защитных костюмах. Но Геннадий Андреевич, поносив хляпающую желтую резину, почувствовав себя тяжелой жабой, закинул костюм за книжный директорский шкаф. По своему городку он предпочитал ходить не одним из резиновых марсиан, а открытым, таким, каков есть, и даже респиратор содрал с потного лица и закинул в карман, откуда торчали, будто лямки бабского лифчика, резиновые завязки. Покрасневшие глаза полковника Забелина угрюмо скользили по деревянному, в черной резьбе фасаду Дома пионеров, где он пацаном клеил модели самолетов, по обкрошенным танками до мясного кирпича и оттого похожим на свиные туши колоннам кинотеатра «Рассвет», по узловатой

старой акации, из стручков которой было так славно делать хриплые пикульки. В уши лез тяжелый, жирный лязг танковых гусениц; на асфальте то и дело попадались разбитые чемоданы, ноги путались в затоптанном тряпье, которое никто не подбирал. Провожаемый косыми отсветами задернутых окон, полковник Забелин чувствовал себя оккупантом.

Прежде чем назначить Иванову свидание в овраге, Геннадий Андреевич должен был решить еще один, сугубо личный вопрос. В Горошине из своих у него оставалась тетка Наталья – та самая, рыжая, теперь уже совсем седая баба с большими, как сухари, желтыми пятнами на плоском лице, и брат-старик, Андрей Андреевич Забелин, самый старший и самый сердитый из всех пяти братьев. Надо было отправить их в Забайкалье, куда уже улетела супруга, а до того определить хотя бы в палаточный лагерь, развернутый в соседней области.

В подъезде у тетки Натальи было темно и глухо, будто в остывшей печке. Никто не ответил на слабое дребезжание звонка. Геннадий Андреевич побухал кулаком в обитую клеенкой хилую дверь. От его ударов тишина за дверью напряглась, точно ее, как мяч, накачали насосом. Невозможно было определить, есть ли в квартире кто-нибудь живой. Помотав головой, полковник Забелин скатился по щербатым ступенькам и побежал через улицу к дому брата, знакомо зеленешему железной кровлей между двух, похожих на растрепанные метлы, пирамидальных тополей.

Брат Андрей Андреевич сидел на веранде в неглаженной белой рубахе и чистых кальсонах, его косая борода издали напоминала гусиное крыло. На коленях у Андрея Андреевича лоснилась горбатая, еще отцовская, тульская двустволка.

– Стой! Дальше не ходи! – сипло выкрикнул брат, вскидывая ружье.

– Это я, Андрюха, не стреляй! – отозвался Геннадий Андреевич, на всякий случай отступая за угол сараюшки.

– Генка, ты, что ли? – взгляделся из-под нависающих бровей вооруженный старик. – Ну, подымайся, раз пришел, – разрешил он, нехотя отставляя двустволку.

Геннадий Андреевич поднялся на шелушащееся краской высокое крыльцо. Брата он не видел лет пять, после перевода все не получалось захватить, принимал дела, то да се. Брат подсох, из-за бурого сельского загара, не сходявшего и зимами, он как будто проржавел. Андрей Андреевич тоже состоял из ношенных частей, и если полковнику, как младшему, все доставалось больше по материнской линии, то старший наследовал по отцовской. Все отцовское, хоть и ржавое, было еще целым и крепким; рука, лежавшая на столе, напоминала звено тракторной гусеницы, забитое землей.

– Ты, Генка, смотрю, потолстел. Ну, садись, – насмешливо пригласил старик.

Геннадий Андреевич огляделся. Всюду на рассохшихся стульях темнела слежавшаяся одежда, стояли покрытые горелой коркой сковороды и чугуны. На столе перед братом мутнела наполо-

вину опорожненная трехлитровая банка самогона. Андрей Андреевич вытряхнул из серого граненого стакана какой-то растительный сор и налил брату с горбом. Полковник Забелин расчистил себе место на лавке, сел, принял в четыре глотка всю тяжесть стакана, и самогон в банке заиграл, зазмеился, стал показывать, будто гадальный шар, разные странные картинки.

– Ты капустой закусывай, капуста у меня, что яблоко, сладкая, – Андрей Андреевич придвинул полковнику миску с квашениной.

Капуста, курчавая и ледяная, и правда оказалась хороша. Полковник закусил, пришел в себя, веранда со всем содержимым встала на место.

– Не знаешь, где тетка Наталья? – спросил он, берясь за хлеб.

– У дочки гостит, у Людки, в Челябинске, – охотно отозвался брат, и по этой охотности полковник заподозрил, что Андрюха врет.

– Сам-то чего не уезжаешь? – продолжил он допрос, глядя исподлобья.

– Так говорят, учения у вас, – произнес Андрей Андреевич равнодушно. – А мне некогда с вами играть, дела у меня, – тут он невольно скопился на самогон, и полковник догадался, что такими же точно делами по горло заняты все, затаившиеся в Горошине, мужики.

– Если бы ученья, я бы что, пришел за тобой? – зыркнул полковник на брата. – Нет, Андрюха, не учения. Не пей больше и слушай...

Направляясь к брату-старика, полковник прикидывал, сколько правды сможет рассказать. А теперь взял, да и выложил все. Пока он гово-

рил, Андрей Андреевич ерзал на своем табурете и тихо матерился. Со двора приплелся и тушей развалился в ногах пыльный пес местной дворняжьей породы: такой же точно, тупомордый и ватный, похожий на медведя, был у Андрюхи в прежние годы, звали его, кажется, Варяг, а клички этого кобеля полковник не знал. Во дворе, в цветущей пуховыми белыми шапками кусте бузины, залился, запустил вощенные трели знаменитый местный соловей. Самого певца не было видно, но там, где он угадывался, в молодой упругой листве словно стригло ножницами. Птица, которой полагалось уже сомлеть от отравы, была нахально жива, резва и голос имела такой, что иногда глушила, будто вражескую радиостанцию, рассказ полковника.

Когда полковник Забелин закончил излагать, банка самогона между братьями непостижимым образом оказалась пустой.

— В общем, Андрюха, эвакуироваться надо, — твердо завершил полковник, глядя брату в слезящиеся сизые глаза.

— А мне оно зачем? — тихо сказал Андрей Андреевич. — Последние годы остались, чего я мыкаться буду? Лучше уж дома да поскорей, — он неловко перекрестился, словно натянул на себя что-то с головой и застегнулся.

— Мне надо, чтобы ты уехал, — надавил голосом полковник. — Для меня сделай, братка. Мне работать тут.

Андрей Андреевич повздыхал, хлопая себя по торчащим врозь костлявым коленям.

– Ладно, раз так, – проговорил он с безнадежной досадой. – Сяди потихоньку соберусь, завтра подамся. В эту вашу эвакуацию.

– Нет, Андрюха. Сейчас собирайся. Я не уйду от тебя, пока на автобус не посажу, – жестко сказал полковник, беря брата за локоть.

– Ты, Генка, прям арестовываешь меня, – усмехнулся Андрей Андреевич, поднимаясь во весь угловатый и шаткий стариковский рост.

Вошли в дом. Маленькие окошки, завешенные домодельным кружевом и заставленные горько пахнувшей помидорной рассадой, почти не пропускали света. По стенам смутно виднелись фотографии многочисленной родни: старики напоминали лицами комья земли, оплетенные корнями, молодые были тонкошеи и круглощеки, с глазами как пуговицы. Среди последних полковник увидел себя, курсанта, в новенькой фуражке, стоящей на голове, будто сковородка на примусе. Брат собирался бестолково, дергал туда-сюда сырые ящики комода, набитые волглым тряпьем. Собирать, по правде говоря, оказалось и нечего: изношенные пожитки нельзя было брать на люди, они принадлежали Андрюхе, как принадлежит дереву палая листва, и что с ней делать, если дерево срубают и увозят? Наконец старик махнул рукой, натянул, путаясь в штанинах, синий в полоску, видимо, единственный костюм, взял документы, завернутые в ветхую газетку. Хотел было собрать еще почетные грамоты, но они, желтые, будто прогорклое масло, распадались по сгибам, и Андрей Андреевич бросил их на столе.

– А Рекса я как оставляю? – слабым голосом засопровтивлялся он, когда братья, заперев дом на тугие, как мясорубки, висячие замки, шли со двора.

– Оставишь, – сурово сказал полковник, в первый раз слыша кличку кобеля и тут же забывая начисто.

Он тащил брата, и правда как арестованного, к площади с автобусами и чувствовал всеми своими, еще молодыми, костями трудную походку старика. Последний автобус, дотемна набитый людьми, как раз отваливал от памятника Ленину, когда полковник выскочил поперек и замахал водителю. Автобус с неохотным шипением раскрыл переднюю дверь. Геннадий Андреевич поспешно сунул брату в карман приготовленные деньги, сорок с чем-то тысяч, и подтолкнул его, споткнувшегося, к автобусным ступенькам.

– Я тебя найду, Андрюха! – крикнул полковник и в последний, наверное, раз увидел узкий гусиный затылок брата и растрепанный клочок его бороды.

Непонятное, между тем, продолжалось. Результаты анализов почвенных проб, на которые намекал Иванов, по-прежнему отсутствовали, и нервы у личного состава горели, как бикфордовы шнуры. Положительный и надежный, каждый вечер качавший в тренажерке здоровье, капитан Нестеренко был обнаружен в расположении мертвецки пьяным, с разбитой физиономией, напоминающей палитру какого-нибудь Гогена. Работа штаба по ликвидации последст-

вий катастрофы, энергично начатая, зависала в пустоте. Все расползлось из-под рук. Поскольку на местности было все, как на ладони, полковник Забелин мог лично наблюдать, как незагорелые солдатики скопом, будто чищенная картошка, бултыхаются в Суругже. Уже четыре раза объявлялось о прибытии министра и четыре раза откладывалось. Странно было видеть, как мимо резиновых желтых марсиан, трудолюбиво склонившихся в полях, пролетают пацаны на легких, сверкающих спицами велосипедах. Беспорядок и неразбериха нарастали. Этой неразберихой полковник Забелин и решил воспользоваться.

Как только вислозадый автобус, увозивший Андриюху, нырнул под горку, полковник из пыльного телефона-автомата позвонил на здешний рабочий номер Иванова. Звонок долго переводили, играя музыкальные гаммы на натянутых полковничьих нервах. Геннадий Андреевич знал, что Иванов сейчас не в Горошине, а у себя в Сибири, улетел за новейшими биохимическими тестами, послезавтра вернется. Прикрываясь горстью, полковник сдавленным голосом наврал, что, мол, имеет догадку, почему воздействие вещества до сих пор не проявляется, и может сообщить только в разговоре с глазу на глаз.

– Откуда вам знать, вы не специалист... – доносился сквозь размытые тысячи километров раздраженный и усталый голос Иванова.

– Человеческий фактор, – туманно объяснил запунцовевший от волнения и вранья полковник Забелин.

Назначили секретную встречу. Там, где надо. Оставшиеся до свидания сутки с лишним Геннадий Андреевич почти не спал. Соловьи, набивавшиеся в каждую древесную крону, будто монеты в копилку, вынимали из полковника душу. Сидя в узком, точно кусок коридора, гостиничном номере, полковник любовался своим зеркальным и хищным охотничьим ножом. Желание, вызываемое у полковника всем хрупким жизненным составом Иванова, неимоверно раскалялось от напора весенней жизни, порхающей, чирикающей, цветущей, знать ничего не желающей ни о каком веществе.

Наконец, настало назначенное утро. Полковник, слегка задыхаясь, надел чистую, отглаженную еще супругой, форменную рубашку, тщательно побрился, щедро ожег зарозовевшее голое лицо грубым одеколоном, зачесал сырые волосы ровными дорожками. Нож в расстегнутых ножнах он поместил в начищенный до блеска правый сапог. Когда он, при полном параде, ступил с крыльца гостинички на булыжную площадь, лучистое утреннее солнце его почти ослепило. Моргая со слезой, полковник свернул в переулок и тут увидел против радужного света стариковскую шаткую фигуру, которой здесь не должно было быть ни в коем случае.

Брат Андрюха, довольный и важный, как гусак, с беззубой улыбкой в мокрой бороде, вышагивал навстречу, неся поблескивающие удочки и красное пластиковое ведро с уловом. Завидев Геннадия Андреевича, он запнулся, а потом заулыбался еще шире, показывая шишковатые десны.

– Ты как здесь оказался?! – воскликнул полковник, подсакивая к старику.

– Тихо, тихо, Генка, с ног меня сшибешь! – загородился старик выставленными удочками. – Ну, вернулся на попутке, чего мне там делать, в палатках этих? Глянь лучше, чего наловил!

В гордо предъявленном ведре трепетали ломтями серебра крупные язи и топорщил колючки здоровенный жерех. Рыба была тугая, сильная, мордатая, вкусно пахла рекой.

– Выбрось это немедленно! Рыба зараженная! – напустился полковник на старика, топая начищенными сапогами в мягкой пыли.

– Ага, выбрось! Щас! – отдернул ведро упрямый Андрюха. – Да ты глаза разинь, здоровая она! Что не рыбина, то слиток!

И тут по фуражке полковника Забелина словно хлопнула теннисная ракетка. Полковник вытарачился и застыл столбом. «Слиток, слиток...» – мячиком прыгало у него в мозгу. Он моментально забыл и про Андрюху, и про готового к употреблению, ждущего в овражке Иванова. Повернувшись на сто восемьдесят, он рванул по булыжнику к зданию гимназии, торопясь добраться до средств связи и сделать запрос.

– Эй, Генка, погоди! Деньги я тебе твои отдам! – кричал ему вслед Андрей Андреевич, но Геннадий Андреевич не слышал.

В Краснокурьянске дело раскрутили быстро, буквально за сутки. К работе ОБЭП подключились и другие, более чем серьезные ведомства, и

главный подозреваемый, моментально сообразивший, что весь баланс отношений и договоренностей рухнул под давлением чрезвычайных обстоятельств, сам прибежал с повинной. Им оказался заместитель коммерческого директора Краснокурьянского метзавода, некто П.Н. Самагин. Он предъявил и чушки свинца, вовсе не отгруженные потребителю, а спокойно лежавшие на территории завода, в аварийном здании бывшей столовой. В вагоне, как показал Самагин, ехал не свинец, а мешки с обыкновенным кварцевым песком.

Иванов, еле вылезший тогда из овражка, явившийся в своем перемазанном травой защитном костюме похожим на перезрелый желтый огурец, теперь сиял именинником, удивительные уши его цвели, будто голландские розы.

— Хотели поделиться со мной догадкой и бросили меня, — благодушно упрекал он полковника Забелина, не ведая, что смерть разминулась с ним на несколько минут. — Но как вы были правы! Именно человеческий фактор!

Радостный и оттого странно опростившийся, Иванов уже не вызывал у полковника прежнего желания — так, остаточное любопытство пощупать скорлупку кадыка. Теперь полковнику хотелось поглядеть на вора — спасителя Отечества. Видимо, Иванову хотелось того же самого. По своим каналам секретный разработчик добился того, что П.Н. Самагина срочно доставили в Горошин для особого разговора на месте.

В воображении полковника фигура вора перенимала некоторые черты того режиссера катаст-

роф, о котором Геннадий Андреевич размышлял все годы службы в МЧС. Этот Самагин виделся ему мужчиной громадного роста, с пронзительными глазами на туманном лице. Вор собирался перехитрить ОБЭП, возможно, своих подельников из заводского начальства, а перехитрил немолимый рок, подменив важнейший ингредиент гибели безобидным песочком. Фигура такого масштаба вызывала у полковника почтительный трепет.

– Орденом его, что ли, теперь наградить... – размышлял он вслух, когда они с Ивановым сидели в обжитом за эти полторы недели директорском кабинете, ожидая доставки задержанного.

– Этого не надо, – холодно, однако же с прорвавшейся хрипотцой, ответил Иванов.

Когда милицейский сержант наконец-то ввел задержанного, оба невольно привстали. П.Н. Самагин оказался в теле и низенький, на лбу его длинные залысины оставили похожий на запятую черненький чубчик. На предложенный стул П.Н. Самагин опустил осторожно, сложил перед собою руки калачиком и забегал мерцающими глазками с Иванова на полковника и обратно, точно сшивая их по воздуху невидимой ниткой.

– Павел Николаевич, у меня к вам только один вопрос, – холодно заговорил Иванов, демонстративно переворачивая свои бумаги, на которых он в ожидании рисовал завитушки, текстом вниз. – Полностью ли вы уверены, что ни один слиток свинца не попал в сгоревший вагон?

– А как же, как же, полностью, клянусь, – с живостью заговорил задержанный, дрожа ресничками и, видимо, с трудом удерживая взгляд на одном Иванове. – Да, собственно, что мои клятвы, есть же накладные, весь металл сдан и принят согласно документации...

Тут Иванов порывисто встал, вынудив Самагина тоже вскочить, уронить стул и попятиться.

– Дорогой ты мой... – с этими словами секретный разработчик, как-то неловко подпрыгнув, заключил Самагина в цепкие объятия. Поверх вздернутого пиджачного плеча Иванова голова спасителя Отечества тарасилась на полковника в ужасе. Потоптавшись, с Ивановым на шее, Самагин криво улыбнулся и тоже приобнял секретного разработчика локтем, как придерживают, пока открывают дверь ключами, сползающий портфель.

Тут же Иванов отстранил задержанного, одернул пиджак и отошел к столу.

– Вот, собственно, и все, – произнес он своим обыкновенным голосом и сделал знак ожидавшему у дверей сержанту.

– Минуточку, минуточку! – спаситель Отечества умоляюще поднял вверх пухлые ладошки. – До меня доходили отдельные слухи... Так, ничего серьезного... Будто бы отсутствие свинца в пожаре устранило, так сказать, некоторые последствия... Я насчет смягчающих обстоятельств. Может быть, вы сделаете в суде, так сказать, некоторое заявление?

– Нет, – бесстрастно произнес Иванов.

Задержанный П.Н. Самагин жалобно вздохнул, сложил за спиной, едва их сведя, короткие ручки и с выпяченной из пиджака измятой рубашечной грудью в сопровождении сержанта вышел в коридор.

– Всего вам хорошего! – крикнул вслед задержанному штатскую глупую фразу расстроенный и растроганный полковник.

Тем временем Иванов успел собрать свои бумаги в потертый портфель.

– Мне уже совсем пора в аэропорт, – весело произнес он, застегивая на портфеле расхлябанный замочек. – За работу, за работу! Вам, Геннадий Андреевич, предстоит тут закончить, прибратся, так сказать...

– Да уж, набезобразничали, – проворчал полковник.

Он в последний раз глядел на серого секретного разработчика, чуть не ставшего человеком его судьбы, и не видел ничего особенного. Должно быть, в опечатанной сургучным родимым пятном голове Иванова роились формулы нового вещества, еще секретнее того, что чуть не убило все живое на тысячах квадратных километров, – но полковнику сейчас было все равно.

– А знаете, почему Россия богохранимая страна? – вдруг произнес Иванов, обернувшись.

– Почему? – набычился полковник.

– Потому что, кроме Бога, хранить Россию совершенно некому, – сказал Иванов и закрыл за собой дверь.

СТАТУЯ КОМАНДОРА

– Ну вот, Анюта, наши места! – произнес высокий горбоносый мужчина лет тридцати пяти, откатывая дверь купе спального вагона и пропуская спутницу.

Спутница, отводя от лица сухой белокурый локон, неуверенно скользнула в полутемное пространство, душноватое и таинственное, какими всегда бывают купе перед отправлением поезда. Прежде чем сесть на диванчик, погладила его чуть дрожащей ладонью, бледной в полумраке, будто разбавленное молоко. Потрогала столик, прежде чем поставить на него маленькую лаковую сумку. Молодая женщина держалась не совсем так, как ведут себя обычные пассажиры, привыкшие к устройству и быту поездов. Она была как будто слепая или абсолютно не верила своим глазам, прозрачным и влажным, будто тающий лед. Мужчина сноровисто вынул из чемодана ее халатик, косметичку, отороченные мехом плюшевые тапки – все новое, без единой пылинки из прежней жизни, и, убрав багаж, взял ее руки обе-

ими своими. На безымянных пальцах пары блеснули одинаковые, тоже новенькие, обручальные кольца

– Все хорошо, Анюта, все хорошо, – заговорил мужчина, грея бескровные жилки и косточки спутницы.

– Мне не по себе, Вань, – глухо проговорила молодая женщина. – Я сейчас должна быть на кладбище...

Тут поезд дернулся, в окне, между гобеленовыми шторками, поплыли похожие на гигантские загипсованные ноги колонны вокзала. На остром лице пассажирки отразилась паника, взгляд заметался от окна к неплотно закрытым купейным дверям, где водянистое зеркало тоже показывало уплывающие прочь привокзальные копченые постройки, бетонные заборы с линялыми граффити, уступы жилых многоэтажек. Мужчина поспешно обнял спутницу и, чувствуя сопротивление, как если бы она внутри вся была прутяная, спрятал ее голову у себя на груди.

– Тш-тш-тш... Все хорошо... Мы женаты, мы едем в свадебное путешествие... – приговаривал он, поглаживая ее сухие растрепанные волосы. – Про кладбище забудь.

Кладбище, о котором шла речь, было знаменито на всю страну артефактом девяностых – так называемой Аллеей бандитской славы, все еще величественной, хотя уже немного обветшавшей. Здесь лежали герои криминальных войн, хозяева того достопамятного десятилетия, когда разновидности размножающихся рублей сменяли друг

друга, будто поколения мушек-дрозофил, когда по улицам раскатывали распираемые шансоном «мерины» и «бэхи», похожие на гигантские катушечные магнитофоны, – до тех пор, пока из припущенных окон не высывались стволы, чтобы превратить бойцов враждебных группировок в свежие трупы. В те времена все простые инженеры и школьные учителя этого славного города знали имена Кабанчика, Вована Ферзя, Саши Китайчонка. Теперь авторитеты мирно покоились в своих посмертных имениях, обнесенных античными колоннадами, с которых кое-где свисали, полные позапрошлогодних листьев и дождевых дрожащих слез, клочья паутин. В траурных вазах еще цвели жесткие рыжие настурции и рваненькие фиалки, но их уже заглушала принесенная новыми ветрами сорная трава. Памятники представляли собой главным образом глыбины черного гранита с гравированными портретами дорогих умерших – очень напоминавшими их же изображения на ментовских ориентировках. Памятники потускнели, потеки на полированном камне, оставленные дождями и покрытые пылью, напоминали брошенные сушиться женские колготки.

Главной достопримечательностью Аллеи бандитской славы были статуи. Пресса в свое время с удовольствием проехала по дотошно вызолоченным на каменных шеях широченным голдам, по мобильникам и брелокам от «мерсаков» в тяжелых каменных руках. Но волна публикаций прошла, а мобильники и голды остались. Было что-то общее, что-то почти невинное в выраже-

нии округлых, блестящих курносими носами каменных лиц; было что-то ученическое в предьявляемых статуями предметах благосостояния (I have a pen, I have an apple из начальных уроков английского языка). Только один из каменных покойников казался взрослым человеком.

В свое время он ходил в большом авторитете, и, соответственно, погоняло его было Командор. Скульптор, изваявший Командора двенадцать лет назад, прежде специализировался на гранитных, бронзовых и гипсовых Ильичах, потребность в которых никогда не уменьшалась, а только росла – точно в стране буквально каждый месяц возникал новый городишко или заводик, которому требовался перед проходной или райкомом собственный вождь. Благодаря такому творческому опыту, автор придал Командору характерный, устремленный с постамента в будущее, ленинский шаг; правая рука скульптуры, вскинутая указать трудящимся путь в коммунизм, как бы остановилась на полпути, потому что зажатый в ней мобильник (очень реалистично выполненный в граните лопатообразный Siemens с боковой антенной и большими, как горохи, толстенькими кнопками) как бы внезапно зазвонил. Несмотря на примесь В.И. Ленина, сходство скульптуры с оригиналом, по общему мнению пацанов, было поразительное. Скульптору удалось передать скос тяжелого лба, наплывы щек, а главное – хищную, волчью связь между крупным оскалом и положением острых, прижатых к черепу ушей. У статуи был секрет, известный только самым ближним бра-

танам: под каменным пиджаком, искусно выточенный и скрытый заполированной полкой, находился пистолет «Глок», выполненный, как и сам Командор, в две натуральные величины. Разумеется, оригиналы пистолета, мобильника и ключей от «мерсака» были положены Командору в дубовый, с дворцовой роскошью сделанный гроб.

В отличие от большинства бандитских захоронений, мемориал Командора выглядел ухоженным: никакие осадки не заляпали скульптуру, никакие кладбищенские отдыхающие из числа еще живых не замусорили поставленную прямо под стопудовый взгляд Командора чугунную скамью. На этой скамье во всякое время года можно было видеть сутулую блондинку с неправильным лицом, словно нарисованным косметикой на пустом месте. Блондинка предстала перед глубоко высверленными в граните глазами статуи регулярно раз в сутки.

Анечка не была официальной и законной женой Командора, хотя прожила с ним два года и восемь месяцев. Командор учился в той же школе, что и она, и закончил ее на медные тройки, когда Анечка, отличница и умничка, перешла в четвертый класс. Завалившись на Анечкин выпускной с полной спортивной сумкой бухла и с букетом кровавых роз для любимой училки, он увидел ее, тоненькую, как стрекозку, в радужном и жестком платье, сшитом из капроновой занавески. Увидел и просто взял себе.

Поначалу Анечка была рада-радешенька переехать из продымленной заводом родитель-

ской панельки в центр, в просторную квартиру с видом на Главпочтамт и главный городской фонтан, вокруг которого гуляла принаряженная молодежь. Дом был полная чаша: невиданный высоченный холодильник кряхтел от обилия деликатесов, у Анечки едва ли не у первой в городе появилась итальянская, восхитительная и хвоистая, будто новогодняя елка, норковая шуба. Однако денег у нее не было ни копейки. Анечка таскала понемногу из карманов Командора, когда он, после своих трудов и отдыха, прибывал, источая страшный дух, словно перегретый грузовик, и падал поперек кровати, размазав плоскую щеку по шелковой подушке. Выходить из квартиры в город Анечке не рекомендовалось. В прихожей, на низенькой, чуть ли не детской табуретке, всегда сидел здоровенный задастый охранник – Саша, либо Гоша, либо Леша; их, будто зверей в зоопарке, запрещалось кормить. Однажды в кармане кожаной куртки Командора Анечка нашла незнакомую голду, облепленную словно давленным изюмом. Потом красное с куртки и голды мазалось повсюду, никак не смывалось горячей водой; мыльная пена, падавшая с рук, была как в кастрюле во время варки мяса. Но уйти Анечка не могла: она догадывалась, что Командор просто не представляет ее свободной от себя и при этом живой.

Однако судьба распорядилась иначе. В один погожий апрельский денек, когда Командор, зевая и починая на солнышко, вышел из офиса и уселся в «мерсак», машина как-то несолидно подпрыгнула и вспухла огнем. Невероятным образом ключи

от «мерсака», отброшенные взрывом либо последним бессознательным движением Командора на озарившийся лед, остались невредимы. Видимо, пацаны, положившие эти ключи Командору в гроб, представляли дело так, что покойный «шестисотый», превратившийся здесь в покореженный остов, там возродится, оденется прежним лаковым блеском и повезет хозяина по райским кабакам.

Командора хоронили в закрытом гробу. Для траурного кортежа перекрыли главный проспект, называвшийся, естественно, проспектом Ленина; перед катафалком тащился открытый грузовичок, откуда под колеса последнего Командорова транспорта бросали охапками белые розы – и после проползания скорбного бандитского парада вся эта роскошь оставалась на проезжей части раздавленная, напоминавшая переваренные доллары, чем и была в действительности. Зеваки стояли вдоль проспекта, будто темный лес, загадочный и недобрый. Анечка сидела в катафалке подле гроба, бессмысленно уставившись на угловую бронзовую завитушку. На кладбище порывистый ветер, задиравший пегую бороду деловито служившего батюшки, казался Анечке дуновением свободы.

Не тут-то было.

На другое утро после похорон к заспавшейся Анечке, впервые ночевавшей в квартире без охраны, явился адвокат. Был он похож одновременно на курицу и яйцо: узкоплечий, с большими женскими бедрами и яйцеобразной, совершенно лысой головой, на которой для обозначения глаз

крепились очки. Разложив перед собой свои бумаги, поглаживая их короткими ручками-крылышками, адвокат объявил вдове последнюю волю покойного. Оказалось, что Анечка, не состоя с Командором в зарегистрированном браке, по закону не может претендовать ни на какое наследство. Однако, по счастью, Командор оставил завещание. По нему Анечке отходила данная квартира со всей обстановкой, автомобиль «ауди» тысяча девятьсот девяносто первого года выпуска и ежемесячное содержание в размере пятисот долларов США. Единственное условие: вдова должна приходить к надгробному памятнику Командора каждые сутки.

– На нашу адвокатскую фирму и лично на меня возложен контроль за выполнением условия, – пояснил маленький лойер, помаргивая золотыми очочками. – Обратите внимание, уважаемая Анна Валерьевна: если вы пропустите хотя бы раз, немедленно наступают последствия, весьма для вас нежелательные. То есть придется на другой же день выселить вас отсюда на улицу. И никаких больше денег, разумеется. Сегодняшние сутки уже идут в зачет, так что собирайтесь, едем на кладбище.

Так и повелось. В тот день, скромно постояв позади озябшей Анечки перед грудой заледенелых венков, звеневших как эоловы арфы на знобком ветру, адвокат вручил ей первый плотный конверт с долларами. Всю весну, все лето и начало осени либо маленький лойер, либо его помощник, унылый тип с длинными вялыми

волосами, из которых торчали белые, как мыло, круглые уши, сопровождали Анечку к месту упокоения Командора. Вместе они наблюдали, как воздвигается мемориал, как одевается в камень могила, напоминавшая во время работ залитое дождями старое костровище. Наконец, настал момент, когда Анечка увидела каменного мужа. Гранитный Командор смотрел на нее из-под нахлобученного лба, и похолодевшей Анечке почудилось, будто в глубоко высверленных зрачках таится стеклянистая, злая, совершенно бессмертная жизнь.

– Ну вот, теперь он сам за вами присмотрит, – с облегчением объявил маленький лойер.

– Как присмотрит? – испугалась Анечка. – В нем что, видеокамера?

Адвокат пожал покатыми плечиками, что вышло похоже на выдавливание тюбика.

– Техника не стоит на месте, – произнес он туманно. – И помните, Анна Валерьевна: достаточно одного пропуска. Мы сразу будем знать.

Сперва Анечка считала, что завещание Командора дает ей спасительную передышку, прежде чем она устроит жизнь как-то по-другому. Она размышляла, идти ей на работу или поступать в университет – и в этих необязательных мыслях незаметно прошел год. Оказалось, что найти хорошее место с приличной зарплатой без друзей и знакомых совершенно нереально. Анечка постояла пару месяцев за прилавком косметического бутика и надышалась фальшивыми парфюмами, оставляющими в ноздрах свои ингредиенты, как краска с фальшивых банкнот остается на паль-

цах, после чего даже запах жареной картошки долгое время казался Анечке поддельным. Чуть дольше она продержалась в секретаршах у директора типографии, продувного типа с воспаленной коммерческой жилкой, печатавшего с пленок заказчика в собственную пользу левые тиражи и не выпускавшего со складов тиражи издательства, пока не сбудет свой контрафакт. Однажды, в отсутствие предусмотрительно смывшегося шефа, разгневанный издатель отхлестал Анечку по лицу стоявшим у нее уже неделю подкисшим букетом. На этом ее трудовая биография закончилась.

Куда ей было деваться? Чтобы купить квартиру, требовалось полжизни. О возвращении к родителям не могло быть и речи: там оставалась сестра, и у сестры родилась двойня. Казалось бы, Анечка могла просто-напросто жить в свое удовольствие и не работать, но от ежедневной кладбищенской обязанности у нее не было отпусков. Каждый раз с наступлением лета ей страстно хотелось на море. Море снилось ей по ночам – синее-зеленое, дымчатое, в полукольце воздушных гор. Но видеть его Анечка могла только по телевизору, главным образом в рекламе шампуней и шоколадок Bounty, которые она поедала в несметных количествах, разбрасывая по кожаному дивану испачканные бумажки.

Поводок, на котором держал ее Командор, был длиной в триста километров: именно на такое расстояние Анечка, боязливый и неловкий драйвер, могла отъехать от дома, не рискуя опоздать на свидание со статуей. В радиусе трехсот

километров, помимо самого областного центра с его растянутыми, будто рукава у кофты, заводскими пригородами, имелись два городишки: Каменск и Талда. Никогда в обычной жизни Анечка не отправилась бы на экскурсию в подобную дыру, а теперь ездила каждую неделю и знала наизусть достопримечательности: два почти одинаковых Дворца культуры, затейливый, точно сложенный из пряников, Каменский драматический театр, талдинский Троицкий собор, похожий на перестроенную под богослужения русскую печь. Полумиллионный Краснокурьяинск, далеко распространявший специфический едкий запах цветной металлургии, был уже за границей. Иногда Анечка в каком-то отчаянном хмелю устремлялась по шоссе на краснокурьяинские оранжевые дымы, вытекавшие, как фанга, из заводских медеплавильных труб, но близящаяся точка невозврата заставляла биться сердце, точно оно вот-вот взорвется, и Анечка, всхлипнув, поворачивала назад.

Таким образом, Анечкин мир сделался маленьким и плоским, вроде пиццы, с тремя городами, одним лесопильным поселком и одним озерцом, полным тины и мальков: в нем Анечка в разгар жары купалась вместе с сопливыми поселковыми мальчишками. Теперь море снилось ей в виде зеленого студня, в котором колыхалась сплошная масса водорослей, сопящая от шевеления волны; из-за них отяжелевшая морская гладь напоминала рваную сеть. Большой окружающий мир в сознании Анечки приобретал черты все более фантастические; при этом самым реальным

был объект в высшей степени странный – сама статуя. Анечка так и не выяснила, есть ли в памятнике видеоаппаратура. Но ощущение собственной видимости перед гранитным Командором было настолько явственным, что Анечка первое время сидела на чугунной скамейке неестественно, будто в салоне у фотографа. И потом, когда она попривыкла и озлилась, ощущение не исчезло. Статуя словно генерировала поле – поле зренья мертвеца, накрывавшее скамью и метров пять траурной аллеи, выложенной темно-багровыми яшмовыми плитами. В этом поле свет, солнечный либо электрический, заметно тускнел, точно зрению покойника, в отличие от живых, нужно было не освещение, а, наоборот, темнота.

Если видеокамера работала, то в адвокатской фирме уполномоченные люди смотрели интересный фильм. Они видели Анечку потупленную, стоявшую перед статуей ровно минуту и уходившую, не поднимая глаз; видели плачущую, с искаженным опухшим лицом и страдальческим оскалом, натянувшим на шею старушечьи жилы. Видели ее кривляния, высунутый язык, грозящий статуе костлявенький кулак. Адвокаты наблюдали Анечку тусклую, в бесформенном балахоне до пят, наблюдали ее же в задравшейся мини-юбке и рваных колготках в сеточку, хлопающей себя по оттопыренной заднице и пучившей в поцелуе грязно намазанный рот. Было время, когда бандитская вдова ударилась во все тяжкие. В промышленном центре как раз пооткрывались ночные клубы, обвившие бетонные строения резкими, как электро-

сварка, бегущими огоньками. Там Анечка, нарядившись в вульгарные тряпки, хлебала коктейли и снимала себе гуманоидов, роковым образом похожих на охранников Сашу, Гошу и Лешу – иногда даже плативших ей по пятьдесят долларов за ночь. Утром, обнаружив рядом с собой чужое белое тело несколько свиных очертаний, Анечка понимала дурной и больной головой, что счастья нет и не будет. Ей удалось вовремя остановиться: чтобы выполнять условия Командора, нельзя было попадать ни в какую клинику и уж тем более в ментовку.

Теперь Анечка по-настоящему чувствовала себя женой Командора – гораздо больше, чем прежде, когда Командор был еще не каменный, а живой. Иногда она вдруг принимала отчаянное решение не ехать на кладбище: вот не ехать, и все. Плача и бормоча, она пихала вещи в чемодан, чтобы уйти куда угодно – на вокзал, на уличную скамью, в то безразмерное пространство отчаяния и обиды, которое создается воображением повздоривших влюбленных. Потом, опомнившись, бросала прямо на полу развороченные тряпки, хватала на улице немытое «ауди», с безумными глазами, как у понесшей лошади, мчалась сквозь ночь, ловя на себе косые взгляды бомбил; успевала к половине двенадцатого, без четверти двенадцать, без пяти двенадцать.

Командор, в свою очередь, начал ей звонить. Все чаще на дисплее Анечкиного мобильного определялся знакомый номер – ЕГО номер, значившийся в списке контактов как Husband. Анечка убеждала себя, обомлев с распухающим от зуда

мобильником на мятной ладони, что, скорее всего, телефон Командору в гроб положили без «симки», а теперь либо адвокаты, либо братки пугают ее, вставив сим-карту в другой аппарат. Может, хотят отобрать квартиру или просто поиздеваться. Но когда она, раскрыв телефон, орала в него «Алло!» – ответом ей была такая огромная и черная тишина, точно она приложилась ухом к дыре, ведущей в небытие. Тишина говорила «Аааааааааааа» совершенно без голоса, только бесконечно глубоким горлом, готовым проглотить человеческий разум. С каждым таким звонком Анечка словно получала инъекцию небытия, и уже в голове у нее открывались черные области, не дававшие связывать мысли.

Последний Анечкин бунт случился на девятом году ее крепостного вдовства. Подкопив денег, тщательно выверив авиарейсы, она полетела в Париж. Самолет был как сон; то и дело ныряя в жужжащую дрему, Анечка словно вываливалась из «боинга» и потом тяжелым хмельным усилием вновь оказывалась в салоне, будто неслась затыжными скачками над равниной ночных посеребренных облаков. В аэропорту «Шарль де Голль», поражавшем огромными крытыми пространствами, Анечка почувствовала себя мухой, ползущей по потолку. Маленькое синенькое такси с табличкой на горбатой крыше повезло ее к Лувру. На все про все у Анечки было примерно пять часов. Слишком тепло одетая для иностранного февраля, Анечка тащила ноги в меховых ботинках вдоль бесконечного дворцового фасада и не могла поверить, что вот эта блеклая вода,

словно исчезающая вместе с отражениями и рябью в блеске голого солнца, и есть Сена. Статуи здесь были ярко-белые, все до одной незрячие; на мраморных головах иногда торчали острой коронной проволоки для защиты от птиц. Анечка очень устала, но чтобы присесть, надо было что-нибудь заказать: она не видела нигде обыкновенных бесплатных скамеек, а в многочисленных кафе, выставивших на тротуары не просто пластиковую мебель, а красивые столики, покрытые скатертями, было дорого и как-то страшно. За этими столиками сидели люди, много людей: пожилые носатые господа с газетами, стриженные старухи в веселеньких шарфиках, неопределенного пола молодежь, побросавшая в кучу свои рюкзаки. Глядя на них, глядя на толпу, Анечка чувствовала себя чужой им всем – гораздо больше чужой, чем если бы она осталась дома, чем если бы она умерла.

Она едва не прозевала время, когда надо было ехать в аэропорт. На пути в «Шарль де Голль» такси попало в пробку из здешних маленьких автомобилей, похожую, по сравнению с российским скоплением могучих джипов и отечественного металлолома, на стадо коз – но абсолютно непрошибаемую для заклятий и молитв. Что Анечка пережила, стиснув руки на коленях и глядя перед собой сухими страшными глазами, – не дай бог пережить никому. Она успела на рейс в последний момент. Во время обратного полета, замерзая в пропотевшем платье под тоненьким пледом, Анечка поняла, что ненавидит Париж. Дома мело, курились сугробы, темные сосны на клад-

бище качались в снежном дыму. По каменному Командору словно текло молоко, и Анечке почудилось, будто статуя вот-вот шагнет с постамента и разобьется.

Теперь жизнь начала неостановимо уходить из бандитской вдовы. Ежемесячные пятьсот долларов, бывшие когда-то очень неплохими деньгами, уже едва обеспечивали насущное. Старушка «ауди» побарахлила и встала: на дорогой и бессмысленный ремонт у Анечки не хватало средств. Теперь и Каменск с Талдой превратились в смутную мечту. Автомобиль ржавел под Анечкиными окнами, из-под колес росли, пробивая старый асфальт, стеганные лопухи. Примерно то же самое происходило и с самой Анечкой. Так было до тех пор, пока однажды, сидя на скамейке перед облаканной солнышком статуей, она не заметила краем глаза высокого мужчину, снимавшего ее навороченным фотоаппаратом из-за куста сирени.

Иван Ветров, он же Хуан Игнасио де Уэрта, происходил из семьи потомков испанских коммунистов, бежавших в СССР от Франко, своего родного языка он почти не знал. В паспорте его стояла русская фамилия, образовавшаяся тогда, когда антифашистов тоже начали на всякий случай потихонечку сажать – особенно тех, в ком текла слишком густая и яркая, сладкая для специалистов с Лубянки, дворянская кровь. Несмотря на происхождение, Ветров был не особенно хорош собой – слишком черняв, слишком костляв, его лицо с выпирающим горбатым носом было в

странных голодных ямах, точно нехватка строительного материала, испытанная и отцом, и матерью в советском детском доме, отпечаталась в генотипе. Однако Ветрова это не волновало: его настоящим лицом, его зрением и способом мыслить была фотокамера. Иван Ветров был весьма известный фотохудожник, мастер женского портрета. В его работах проступало то, чего женщина, служившая моделью, ни при каких обстоятельствах не могла увидеть в зеркале. Некий почти мираж с доминированием какой-нибудь одной реальной черты: заломленной брови, непослушной пряди, узкого, прошитого морщинками, изысканного рта – облик неожиданный и нетронутый, как если бы женщину никогда не снимали на паспорт. Виясь вокруг модели по полу, по стенам, чуть ли не по потолку, Ветров щелчками фотокамеры с невероятной точностью выхватывал драгоценные мгновения истины, обыкновенно затираемые кусками простого времени. Его фотосессии проходили на обряд поклонения, на танец паука вокруг попавшейся мухи. Женщина, чувствуя себя вовлеченной в некий интимный процесс и познанной в этом процессе, испытывала желание сказать о себе еще больше. Довольно часто это заканчивалось постелью.

Известность фотохудожника Ивана Ветрова росла, выставки его проходили в Париже, Бостоне, Нью-Йорке. Но главным талантом донна Хуана было понимание женской природы. Он знал, например, простые вещи: всякая женщина почти всегда плохо себя чувствует, всякая женщина от всякого своего собеседника что-то скрывает. Вы-

ше красоты – вернее, того, что принято считать красотой, – дон Хуан ценил в женщинах дар желать: мужчину ли, новый автомобиль, поездку на курорт, неважно. Он видел, что мужчины, несмотря на свою амбициозность, гораздо равнодушнее к жизни. И женщины желали дону Хуана – он же не видел никакого повода им отказывать. Вокруг него кипели страсти: его любовницы, как только добирались друг до друга, принимались выяснять между собой, которая лучше – по признакам, по большей части отражавшим их заблуждения; от дона Хуана прекрасные донны требовали судейства. Но дон Хуан не мог им дать именно этого: судейства и суда. Он был бы и рад выбрать, наконец, из всех одну, но не находил причины, почему та, а не другая. Он слишком серьезно относился к жизни и судьбе – этот выродившийся кавалер с хрустящими суставами и ранней сединой цвета холодных углей; ему действительно нужна была причина, гораздо более высокая и веская, чем молодость и красота. Среди его любовниц была пятидесятипятилетняя неудачливая актриса, носившая в растянутых мочках тяжелые сапфировые серьги в тон выцветающим глазам и гадавшая за деньги на картах; она научила его, что женщина, познавшая отчаяние, бесценна. К ней дон Хуан относился особенно трепетно, но разрыва во времени преодолеть не мог. Он ждал знака судьбы – подозревая, что дон Гуан из старинной испанской легенды, послуживший моделью для Пушкина и Байрона, был на самом деле не охотником, а дичью.

Отрешенная вдова, которую Ветров увидал, приехав поснимать Аллею бандитской славы для своего набирающего популярность блога, вызвала буквально бешенство верного Nikon'a – будто в фотоаппарате билась целая стая готовых вылететь птиц. Те золотые мгновения истинны, которые Ветрову приходилось выцеливать из разных, иногда немислимых физических положений, роились вокруг понурой фигурки, точно мошкара. Дон Хуан допускал, что, выскочив из кустов с фотоаппаратом наперевес, он больше всего походил на сумасшедшего. Не слушая растерянного лепета, даже толком не представившись, он утащил, увез кладбищенскую находку в студию – с чувством, будто украл надгробную статую. Эта смущенная женщина, поставившая черную сумку, почти котомку, прямо на затоптанный пол у входной двери, содержала в себе даже на первый взгляд целую фотовыставку, а в перспективе была неисчерпаема. Ее доминантой были глаза, что случается гораздо реже, чем думают производители туши для ресниц. Наснимав на пленку и на цифру целое богатство и мечтая остаться, наконец, наедине с файлами, Ветров легко отпустил осунувшуюся модель домой или куда она там собралась на ночь глядя. Однако файлы были таковы, что дону Хуану скоро стало понятно: эта женщина на самом деле не ушла и никогда не уйдет. Испугавшись, что кладбищенская находка дала ему, чтобы отвязаться, неверный телефонный номер, дон Хуан принялся ей звонить в четыре утра.

Он взял ее штурмом, каким-то безумным фламенко, занесшим их не на кровать, а на старый и тучный, астматически хрипевший под ними кожаный диван. Потом, лежа подле влажного тела, напоминающего худобой и стеклянностью какое-то дивное насекомое, дон Хуан догадался, что крепость вовсе не взята, по-прежнему маячит фатой-морганой на горизонте, и брать ее предстоит осторожно, медленной изучающей лаской, которая, Бог даст, продлится целую жизнь. Сперва дон Хуана тревожило, что ему выпало разрушить великую женскую скорбь: он краем глаза заметил даты на постаменте у статуи и поразился сроку траура по такому brutальному животному. Потом он услышал настоящую историю Анюты, и у него отлегло от сердца. Ветров знал немало трагедий, происходивших с хорошими и слабыми людьми, которых перемены девяностых заживо вычеркнули из списка живущих, — из них трагедия Анюты была самой женственной и взывала к лучшим силам недюжинной природы дон Хуана. Это и была та самая причина, основание выбора, с которым не поспоришь. Дон Хуан объявил Анюте, что проблемы закончились. Квартиру он унаследовал, деньги зарабатывал. Он перевез Анюту к себе, разрешив собрать в черную котомку только документы и кое-что из ее усталой одежды на первое время, перевез, по иронии судьбы, наискось через проспект, с видом из окон на зеркально-синюю, цвета окалины, башню офисного центра и на угол прежнего Анютино дома, выпиравшего из тряпичной листвы, будто старый комод.

Имя будущей жены будило у дона Хуана романтическое волнение и как бы подтверждало его идентичность. Он, однако, вздрогнул, услышав, как в действительности зовут гранитного покойника, чьи фамилия, имя и отчество, высеченные на постаменте, были совершенно обыкновенными, ничего о владельце не говорящими. Разумеется, дон Хуан и не думал приглашать в гости эту толстоногую статую с мордой как обледенелый корнеплод. Тем не менее он понимал, что обстоятельства сошлись, сюжет запущен и вопрос только в том, когда ожидать визита Командора. При мысли об этом визите в волосах у дона Хуана шевелился песок. Это заставило его максимально поспешить со свадьбой. Бывшая актриса, дрожа серьгами и плача без слез лиловыми морщинками, его благословила.

То, как Анюта вела себя перед свадьбой, кому угодно показалось бы странным – кому угодно, только не дону Хуану. Под разными неуклюжими предложениями Анюта исчезала каждый день на два, на три часа – дон Хуан отлично знал, куда и почему ее несет. Он понимал, что переживает женщина, уходя от одного мужчины к другому. В этот опасный период всегда возникает зыбкий ренессанс прежнего чувства – вспышка воспоминаний, боли и вины, которыми бывший, если окажется умен, сумеет воспользоваться. Дон Хуану в этом смысле опасаться было нечего: его Анюта бегала к Командору на кладбище. Бегала ежедневно, как привыкла делать годами. Даже наутро перед регистрацией, тихонько выскользнув из постели, уронив на кухне заплывавшую с

плоским громом сковороду, она исчезла, и исчезла надолго: приглашенный на дом стилиста едва успел уложить ее растрепанные кудри, в которых застряли, будто дохлые мухи, цветки кладбищенской сирени. Дон Хуан не сердился. План был такой: после ЗАГСа и церкви неизбежный ресторан, а уже завтра поездом в Москву, оттуда самолетом в Испанию, в Коста-Дорада, к морю.

Дон Хуан выбрал для начала поезд потому, что опасался: резкий отрыв от пятка земли, к которому Аня привязана как к единственной реальности, может вызвать у нее тяжелый шок. Он уповал на то, что пейзаж за вагонным окном, являя спокойную череду совершенно обыкновенных домов, полей и перелесков, поможет Ане освоиться за пределами круга, очерченного злой посмертной волей Командора. Уже через час после отправления поезда стало понятно, что дон Хуан ошибся. Анюту жестоко ломало, она стучала зубами и скалилась, дрожа под двумя одеялами. Дон Хуан попробовал было осторожно, нежно заняться с ней любовью, но Аня вся была болезненная, в острых мурашках, будто ошипанный заживо цыпленок. Дон Хуан попытался ее покормить, заставил пойти в вагон-ресторан, но Аня обмирала без сил в шатких межвагонных тамбурах, где близко под ногами, задувая грохочущим ветром, бежали бурые шпалы, а в ресторане разбила тарелку и расплакалась. Дон Хуан старался ее отвлекать, развлекать, но ближе к вечеру, когда в окне на фоне черных елок и заката

отразился желтый купейный светильник, он и сам поддался тягостному чувству. Что-то подсказывало дону Хуану, что Командор появится сегодня. Не имея другого оружия, дон Хуан держал под рукой расчехленный, готовый к съемке фотоаппарат.

Они уже почти заснули, когда раздался этот звук. Казалось, гигантский кузнечный молот бьет все ближе и ближе по полу вагона, прошибая хрупкую, несущуюся в ужасе коробочку до самого полотна. Анюта резко села на постели, как в фильмах садятся в гробу покойницы. Дон Хуан, встретившись с ее прозрачным электрическим взглядом, бросил ей халатик, сам запрыгнул в джинсы. И тотчас дверь купе, нестерпимо вспыхнув зеркалом, отъехала прочь.

Каменный Командор стоял в коридоре, видный по плечи, за ним, будто длинный черный ворс, шевелилась темнота. Статуя на секунду поплыла, точно ее окатили водой, показалась убежденная птичьим пометом гранитная макушка, и Командор шагнул в купе, отчего стакан в подстаканнике задребезжал, будто железный советский будильник.

– Ну, привет, чё, – раздался глухой и трудный голос, звучавший словно из пещеры.

Дон Хуан вскочил ногами на предательски мягкий диванчик, пытаясь из-за каменного болвана разглядеть, как там Анюта. Его голова оказалась еле вровень с пыльным и шершавым плечом Командора.

– Что тебе надо?! Я тебя не звал! – выкрикнул он, запрокинув голову и глядя в глубоко высвер-

ленные глаза, в которых явственно блеснуло что-то оптическое. Не то от головокружения, не то по каким-то иным причинам дону Хуану показалось, будто Командор носит сильные очки.

– Не звал он! А я тебя спрашивал, нет? – прогудел Командор, ухмыльнувшись рябым гранитным ртом.

Текучая мимика статуи напоминала медленное, одышливое кипение загустевшей каши: крупинки гранита шевелились, будто серая гречка. Дон Хуан трясущимися руками вскинул Никоп и щелкнул. Тотчас каменный мобильник полетел к нему в постель, будто метеорит, и в руке у статуи неведомо как возник громадный, зеркально отливающий левой плоской щекой гранитный пистолет. Бездонная черная дырка пристально смотрела дону Хуану в переносицу, и ему показалось, будто это каменное орудие может выстрелить не хуже настоящего.

– Чё, не стоял никогда под стволом? Так постоишь у меня, чмо недоделанное, – гулко проговорил Командор, приближая к дону Хуану свою каменюку. – Ладно, короче: тема не к тебе, а к Аньке моей. Ты можешь сбегать пока в туалет, разрешаю.

– Анята теперь моя жена. И никуда я не уйду! И не трогай ее! – сорванным голосом крикнул дон Хуан, явственно ощущая, как на затылке, в том месте, откуда должно было вылететь, расплескивая мозги, маленькое каменное ядрышко, шевелятся пряди волос.

– Да? Ну ладно. Уважаю... – Командор нахмурился и сунул каменную пушку себе в бочину, ку-

да она погрузилась, вспучив гранит толстым пузырем. – Ань... Ты, это... Привет, в общем...

Тут Командор приотодвинулся, и дон Хуан увидал, что Аня сидит в постели, прижимая к груди скомканный халатик, и улыбается жалким сощуренным лицом в ниточках морщин.

– Вася?.. Это правда ты?.. – проговорила она еле слышно.

– Ну, – подтвердил Командор. – Дура, чё, не лезь под одеяло, я тебя на камеру снимаю, поняла, нет?! Ну-ка быстро вылезла, села прямо!

– Какая камера, ты, герой мультфильма?! – заорал дон Хуан, проскакивая, чуть не выронив сердце на пол, под каменным локтем и бросаясь к Ане. – Ты зачем явился, в гроб ее загнать?

– Слышь, Ань, твой-то новый, он совсем тупой. Пушкина прочитал, а жизнь, по ходу, не понимает совсем, – пророкотал Командор, и в гулком каменном голосе прорезалась вальяжная гнусавость, которой авторитет, вероятно, обладал при жизни. – Объясняю: камера. Тут вот, – Командор повел неправдоподобно заструившейся рукой у себя перед глазами, в которых, теперь уже совершенно явственно, сверкнула оптика. – Голова у меня открывается, типа бар, прикинь. Сам я это придумал и сам за это отбашлял. Я же, Ань, хотел, чтобы было красиво: вдова на могиле каждый день и все такое. А тебе за это тоже красивая жизнь: деньги, квартира, тачка – чё еще женщине надо? Кто же знал, что так повернется. Инфляция, блин, по беспределу, скоро пятьсот баксов кошке на прокорм не хватит. И еще этот твой таракан, типа муж, опустить меня решил: мол, ни-

чего нам не надо, все свое есть. Думает, я за ним пришел, ага. Нужен он мне. И без него подсадили ко мне Ильича, знал бы, другого гения позвал статую строгать. Ильичей-то этих много, сами по себе они пустые, как бутылки. Но вот главный у них, который настоящий... Из-за него красного хочется, крови хочется, ну, или хоть флагов, на худой конец. Я из-за него, из-за падлы, очень опасный. Таракану своему разъясни, пусть не борзееет, а то поведусь. Ствол у меня теперь ни один мент не заберет.

– Можно подумать, ты крови не лил, ангел какой! – зло парировал дон Хуан, сжимая Анютину ледяную руку, чувствуя, как по ней от плеча пробегает судорога, точно у подопытной лягушки под током.

– Лил, но по понятиям. Никто из правильных людей не мог сказать, что Командор – фуфло. А сейчас хули мне в том... – гнусавый голос Командора внезапно упал. – Совесть у меня проснулась, вот чего. Только я, типа, упокоился, как она на дыбы. Я, пока жил, и подумать ни о чем не успел. А после моей жизни трясет меня, чисто с похмелья. Ильич еще этот вроде сивухи... Короче, Анька, ты зла не держи. Мог бы, переписал завещание, но я теперь без прав, я же мертвый. Лойер этот позорный, камеру когда берет, хоть бы голову мне от говна вытер. Только обломается он квартиру у тебя забирать. В завещании написано как? Чтобы ты у памятника была раз в сутки. А памятник – это я и есть. Ладно, уезжаешь ты с тараканом своим, ну, дело твое. Сам буду приходить, я теперь не гордый. Лойер камеру возьмет,

пленочку посмотрит, а там ты регулярно, дата и время, пожалуйста. И пятьсот баксов тоже тебе не лишние...

– Так ты что, каждые сутки будешь приходить, со своими спецэффектами?! – воскликнул дон Хуан, чувствуя, как ужас, подлинный ужас, давит, будто пятка, на задохнувшееся сердце.

– Ну, – Командор вдруг как-то очень узнаваемо сощурился, и дону Хуану померещилось, будто из гранитной челюсти выдвинулась, вроде как пепельница из дверцы автомобиля, клиновидная борода. – А ты сможешь мне помешать, товарищ?

С этими словами Командор простер правую руку над своим гранитным мобильником, и камешка, валявшаяся на сбитом одеяле, булькнула и прыгнула вверх. На секунду забыв обо всем, дон Хуан опять схватился за Никон: то, что попадало в кадр, тянуло на бурю в Интернете. Не удержавшись, он онемевшим указательным пролистал файлы. На мониторе не было никакого Командора: смутно рисовалось купе, наполненное разводами тьмы, как если бы струйки копоты тянуло в вентиляцию. Вскинув глаза, дон Хуан увидел ту же волокнистую тьму, утекавшую в дверь. Неуверенно бухнул тяжелый шаг – один, другой, точно Командор, плюща поезд, спускался по нему, будто по железной лестнице.

Потусторонний гром внезапно пропал, оборвавшись каким-то полым жалобным звуком. Тотчас, как ни в чем не бывало, застучали вагонные колеса, в окне поплыли желтые огни, прошла освещенная стройка, потянулся городок. Анята си-

дела, стуча зубами и бессмысленно мигая, халатик, по-прежнему смятый на груди, точно вмерз в потеки льда.

Дон Хуан схватил Анюту, прижал ее к себе, прижался сам, чувствуя, как потихоньку разгоняется общий кровоток.

– Вань... Я тебе разве нужна с таким приданным? – слабым голосом проговорила Анюта.

– Нужна, и даже вопроса такого больше не задавай, – тихо ответил дон Хуан. – Мало ли что в жизни случается! Жизнь – странная штука, в ней бывают необъяснимые явления. Проживем, сколько проживем. И все равно счастливы будем. А Командор – ну, что Командор? Шум, гром, камнями кидается, так ведь и все, по существу. Совесть у него проснулась – ну и пусть побегает теперь.

ТАЙНА КОШКИ

Крашенинников надеялся, что в поезде ему удастся выспаться. Черт бы побрал эту командировку! Крашенинников вообще не понимал, зачем это нужно – для решения рабочего вопроса перемещать в пространстве свое физическое тело. Ведь есть Интернет, а в Интернете есть все. Но фирма претендовала на крупный грант, речь шла о разработке дорогого образовательного сайта, и грантодатель пожелал составить личное впечатление о трех ведущих специалистах. Двое улетели вчера, а Крашенинникову пришлось задержаться, у него параллельно шло еще четыре проекта. Когда час назад он, с глазами как две готовые взорваться жаркие бомбочки, вывалился в реал – этот самый реал предстал перед ним настолько тусклым и однородным пространством, что переместиться по нему на девятьсот километров показалось чистым абсурдом.

Вообще после Сети, с ее пластичностью и мощью информационных потоков, материальная действительность виделась Крашенинникову глупо неук-

люжей, ничего о себе не говорящей: люди здесь были будто большие мясистые куклы. Сам Крашенинников не составлял исключения. Перед поездом он не успел побриться, и зеркальная дверь новенького, с иголочки вокзала отразила грузного мужика с темной от щетины бульдожьей физиономией, которой маленький вздернутый нос, дырками вверх, придавал выражение высокомерное и философичное. Каждый, кто входил в эту довольно-таки тугую дверь, совмещаясь со своим отражением, как бы соглашался быть самим собой. Крашенинникову пришлось сделать то же самое и шагнуть в свое ближайшее будущее, волоча собранную накануне колесную сумку, содержимое которой он представлял сейчас довольно смутно.

Он досадовал. Ну скажите, пожалуйста, что это такое – «личное впечатление»? Что можно извлечь из тяжелого одышливого тела по фамилии Крашенинников? Если там и есть что-нибудь, то оно глухо утонуло в невыразительной плоти, и плоть заполнила это образование – ну, допустим, душу, – как заполняет глина попавший в нее часовой механизм. У Крашенинникова в отношениях с реалом не было ничего личного: он ел, что и все, носил, что и все, ездил на обыкновенной «хонде», каких в каждый данный момент на каждой улице города движется по нескольку штук. В реале все объекты, включая самого физического Крашенинникова, не отдавали информацию: информационные процессы здесь были крайне замедленными, а для Крашенинникова это означало то же самое, как если бы замедлился теплообмен – холодно ему было, холодно и мерзко.

Нет, он пробовал жить в реале – но чего это в результате стоило, господи боже мой! Между прочим, про часы и глину – это не просто из головы. Когда взбесившаяся Лора сдирала с вешалок свои манатки перед тем, как хлопнуть дверью, Крашенинников вышел на балкон и вышвырнул ее подарок к годовщине свадьбы: карманные часы «Павел Буре», считавшие время со старческой скупостью, изредка екавшие дряхлым репетитором, называвшиеся у них в семье «Большой собачьей медалью». Под балконом рыли траншею, докапываясь до труб, и пухлая глина, прокипяченная дождем, буквально всосала антикварный предмет. Как ни удивительно, Крашенинников осенью нашел свои часы – увидел заскорузлую цепочку и выдернул их, как репку, из земляной подмерзшей кучи. Оттертые от грязи пуком травы, часы оказались непривычно тяжеленькими, гнетущими ладонь: внутри они, будто желудок кашей, были заполнены ярко-рыжей глиной. Крашенинников, придя домой, бросил большую собачью медаль в прихожей, в ящик с засохшими обувными кремами и вытертыми щетками. Так она и жила, давая знать о себе недовольным стуком, когда Крашенинникову приходила фантазия почистить себе ботинки.

Ну, довольно об этом. Крашенинников спешил по перрону, буквально сшибая встречных пассажиров. Сказано ехать – значит, надо ехать. Интересно, как он сумеет создать требуемое «личное впечатление» – спляшет, споет? Уж скорее нахамит. Лора так и говорила: «Ты, Крашенинников, хам». Шеф сказал: «Давайте, господа, поезжайте

на поклон, да помните – незаменимых нет, ни для того фонда, ни у нас на фирме». Вот сейчас Крашенинников сядет в поезд, завалится на свою нижнюю полку и проспит до самой столицы – уйдет в альтернативный Интернет, куда можно выгрузить из головы тяжелые файлы с шефом, нервно бряцающим ложечкой в кофейной чашке размером с яичко, и с надменной, как бы уже встающей на горизонте, твердокаменной Москвой.

Однако планам Крашенинникова не суждено было сбыться. Он понял это, как только сунулся в свое купе. Молодая крупная женщина в вязаной кофте, с рыжеватым хвостиком волос на толстом затылке распаковывала кошелку, и внятно пахло лежалой колбаской. За столиком, заваленным свертками, ерзал мальчишка лет семи, загорелый, будто бок у спичечного коробка, и такой же исцарапанный, белые волосы ребенка напоминали щепки. Крашенинникову захотелось выйти и снова войти, и чтобы эти соседи исчезли. Но перезагрузиться в реале было невозможно. Крашенинников поймал в коридоре хмурую проводницу, едва достававшую куличиком прически ему до подбородка.

– Где я другое место возьму, полон вагон у меня, – отмахнулась проводница от грубой просьбы Крашенинникова. – Только в вашем купе верхняя полка, хотите, так полезайте, а что дети едут, так их что, в багажном вагоне везти?

Крашенинников постоял в коридоре, глядя в окно, испещренное косыми иглами дождя. Дождь, будто тонконогое насекомое, вился по стеклу,

мелькали мокрые пригородные платформы с грудами поникших зонтов, прогрохотал, фехтуя своим железом, короткий мост, плоская речонка под ним вся была в серых мурашках. Матерясь сквозь зубы, Крашенинников вернулся на место. Ребенок, мотая ногой и пиная под столиком сумку Крашенинникова, доедал из стаканчика мутный капающий йогурт. Соседка успела переодеться в просторный цветастый халат, открывавший в вырезе такую же мутную молочную белизну и треугольник рыжего загара, похожий на след утюга.

– Ну ма-а-ам, почитай... – канючил ребенок, раскачиваясь.

– Сказала, потом, – устало отрезала женщина, вытирая пацану физиономию полотенцем, точно выкручивая перегоревшую горячую лампочку.

– Ду ба-а-ам... – доносилось из-под полотенца.

Женщина, вздыхая, тяжело улеглась на полку, натянула на ноги тонкое одеяло.

– Поиграй пока сам, сыночка, – пробормотала она, закрывая глаза в сизых водянистых веках и поднимая колкие бровки, точно удивляясь наступившему сну.

Соседка отключилась моментально. Качка вагона мотала ее большое безвольное тело, до краев налитое усталостью; в такт колесам болталась веснушчатая рука с грубым серым локтем, точно заштопанная суровыми нитками. Ребенок озадаченно стоял в проходе между полками, колупая голень под грязным бинтом, похожим на кусок бересты. Крашенинников, испугавшись, что теперь почитать предложат ему, поспешно залез в

свою постель, взбудрил кулаком вялую подушку и намахнул на себя одеяло, тонкое, как лист крапивы, и совершенно ни от чего не защищавшее.

– Маа-ааа-ам! Маа-ааа-ам!!! – завел пацан, прыгая на месте, точно поезд был скакалкой, пронесившей под его хляпающими кроссовками зараз по несколько десятков метров рельсового полотна.

В следующие полтора часа Крашенинников лишний раз убедился, как это замечательно, что они с неадекватной Лорой не успели завести детей. Пацан был сущий бесенок: он ни минуты не мог посидеть на месте, сотрясаемый и мотаемый пуце поезда какой-то монотонной скукой. Сперва Крашенинников надеялся, что ребенок выберется из купе и найдет себе в коридоре товарища, такого же маленького монстра. Однако пацан, подергав хрустнувшую дверь и потеревив на ней все тугие ручки и рычажки, так и не сообразил, как ее открыть. Монстрик оказался заперт в замкнутом пространстве, где, к несчастью, находился и Крашенинников со своей ядовитой досадой и болью в глазах, пускавших под веками гроздь зеленых пузырей. Колеса стучали и скулили, казалось, прямо под ребрами, грозя задеть набрякшую печень, подушка превратилась в глухой неудобный тупик. Пацан между тем не унимался. Он дудел и фырчал, Крашенинников наблюдал сквозь сырые ресницы, как монстрик сталкивает в воздухе его щекастый ботинок с утлой туфлей, покрытой сморщенным лаком. Потом пацан залез на верхние полки и принялся там скакать, швыряя темные подушки, иногда свешив-

ваясь в проход на манер летучей мыши; белки его скользящих хитреньких глаз блестели как ртуть. Мать его безмятежно колыбалась и похрапывала, изредка издавая надувшимся горлом звуки, будто рвали мокрую тряпку. Крашенинникову хотелось вскочить и растолкать безответственную тетку, чтобы она занялась, наконец, своим ужасающим ребенком и дала ни в чем не повинному соседу спокойно отдохнуть.

Видимо, Крашенинников все-таки отключился на несколько минут. Когда он, весь пропеченный нездоровой дремой, разлепил глаза, соседка входила в купе, розовая от холодной воды, с полотенцем на полном плече. Мальчишка подскакивал острой задницей на сбитой постели, держа обеими руками толстую книжку, прослоенную, будто бисквит вареньем, цветными иллюстрациями. Женщина, вздохнув, надела на простое квадратное лицо простые круглые очки с толстыми линзами, похожими на донца плохо помытых стаканов. Мальчишка замер и вытянулся, мушинными движениями счесывая с ног разбитые кроссовки. «Ну вот, можно поспать, наконец», – подумал Крашенинников и отвернулся к стене.

– Автор Лора Крашенинникова. «Кошка и Бульдог», – ясным голосом произнесла соседка, и Крашенинников почувствовал, будто его с размаху огрели этой самой книжкой по беззащитному затылку.

Он называл ее Кошкой с самого первого дня, когда они встретились, буквально столкнулись, на тесной чужой корпоративке и у них из одно-

разовых стаканчиков одновременно выплеснулся алкоголь, образовав на сердце у него и у нее два восклицательных, трепетно-влажных пятна. Крашенинников, сентиментальный идиот, потом хранил эту испорченную одежду и целовал, кретин, ее увядающий топ в это пятно от красного вина, уже давно сухое и блеклое от яростных застирываний. Когда же они расстались, у Крашенинникова возникла неотступная фантазия, будто Лору убили в этом топе выстрелом в сердце – хотя пятно на дешевеньком лазурном ацетате напоминало не кровь, а скорее след от пролитых чернил.

Лора была писательница. За год до встречи с Крашенинниковым она получила в Москве вторую премию за лучшую детскую книжку. Крашенинников гордился этой премией больше самой Лоры: ее лауреатская статуэтка – составленные друг на дружку бронзовые кубики с гравированными буквами – жила у него на столе среди компьютерного хлама и наравне с этим насущным хламом покрывалась землистой и суровой рабочей пылью. Разноцветные герои Лориных сказок – все эти говорящие белочки, филины, волки и лисы – казались Крашенинникову совершенно ненастоящими, какими-то сладкими внутри, будто прототипами для них послужили шоколадные фигурки, обернутые подарочной фольгой. Впрочем, он охотно соглашался с тем, что ничего не понимает в литературе: все художественное, попадавшееся ему в Интернете, слишком грузило и как-то распадалось под собственной тяжестью на рой зудящих черненьких букв.

Но Лора потому и стала особенной для угрюмца Крашенинникова, что ему нравилось ее не понимать. Он честно не въезжал, в чем прелесть ее литературного мирка, центром которому служили две высоченные тусклые комнаты, занимаемые местной писательской организацией. Там все было пропитано горьким и холодным табачным перегаром, от разбухшей мебели, покрытой фанерными морщинами, отслаивались крашенные щепки, стояли допотопные «писюки» с замызганными «телевизорами», наливавшимися, когда их включали, воспаленной розовой мутью. Но в этом убогом мирке Лору любили: местные классики, одутловатые старцы с артистическими ватными шевелюрами, спешили приложиться сливовыми ртами к ее шершавой ручонке, полные поэтессы в вязаных шалях обчмокивали ее и ворковали, будто большие грудастые голубицы. В благодарность за это Крашенинников был готов брататься с каждым морщинистым психом, тиснувшем книжку, проставляться по этому случаю недешевой водкой, есть закуску с измятой и промоченной газетки.

В облике Лоры и правда было что-то кошачье. Треугольное личико с острым подбородком, скулы, покрытые легким пушком, а главное – глаза, огромные и круглые, напоминающие кружки лимона, с цитрусовой структурой прозрачной радужки; их, должно быть, для пущего сходства с кошачьими, Лора подводила наклюявленным карандашиком до самых висков. При этом в Лоре не было ничего пушистого, уютного. Скорее она напоминала бездомное кошачье существо, худое,

с торчащими в разные стороны лопатками и хребтом как ручка ведра; за эту бездомность, сперва угаданную, а впоследствии подтвердившуюся, Крашенинников ее пожалел и полюбил. «Кошка Лора», – представилась она кокетливо во время первой встречи, прижимая к пятну на сердце бумажную салфетку. «А я кто?» – глупо спросил отчего-то счастливый Крашенинников. «Бульдог, конечно! Это сразу видно! – воскликнула Лора, близоруко сощурившись. – Чур, не лаять на меня и клыками не трогать!»

– Жила-была на свете Кошка, – монотонно читала соседка под перестук колес и дребезжание стаканов. – У Кошки не было домика, и она бродила по свету с посохом и узелком. Зато у Кошки был талант: она умела рассказывать интересные истории. Когда Кошка садилась на траву, обернув хвостом усталые лапки, вокруг нее собирались зайчики, лисята, ежата, маленькие птички. Кошка рассказывала свои истории, и все зверята и маленькие птички слушали ее, затаив дыхание. За рассказы Кошку угощали молоком и иногда пускали переночевать.

Однажды Кошка повстречала большого и страшного Бульдога. У Бульдога были острые клыки, и он умел грозно рычать. Кошка сначала испугалась и хотела вскочить на забор. Но потом она пожалела Бульдога, потому что с ним никто не хотел дружить. «Давай, я буду с тобой дружить!» – сказала Кошка Бульдогу. Бульдог очень обрадовался и пригласил Кошку жить в свою будку. Бульдог сторожил большой дом, и хозяе-

ва каждый день давали ему полную миску вкусного корма. Бульдог и Кошка ели из миски вместе. Кошка была сыта и счастлива.

– Ма-ам, а Бульдог плохой? – занял пацан, дергая мать за рукав халата.

– Наверное, плохой, – равнодушно ответила та, переворачивая страницу.

Вот ни хрена себе! Лежать вот так, чуть ли не головой на рельсах, и слушать историю собственной жизни, изложенную в виде малышово́й сказки. «Как-она-могла, как-она-могла, как-она-могла», – стучало у Крашенинникова в мозг, тоже будто бы крутившемуся вместе с колесами на какой-то железной оси. Бульдог и Кошка – это было совсем не то же самое, что детские книжные зверюшки со сладкой начинкой. Они-то были живые. По крайней мере, настолько, насколько были живы сами Лора и Крашенинников. А жизнь, господи, жизнь – как она сверкала тогда всей массой накипавшей на ветру листвы, лаком мреющих в пробке автомобилей, крупным летним дождем, горевшим на солнце, будто на землю сыпалась всеми своими хрустальными гигантская люстра. Тогда жизни в Крашенинникове было столько, что казалось, укажи он на что-нибудь пальцем – и вылетит искра. От этого разряда, взявшегося неизвестно откуда, ожили два существа: Кошка женского пола и Бульдог – мужского.

Все пары как-нибудь друг друга называют. Красивые женщины нетяжелого нрава успевают за жизнь побывать и кисами, и зайками, и мышками, и птичками. Целые виртуальные зоопарки. Интересно, как все это милое зверье уживается в

одном человеческом существе. Такие женщины должны время от времени тайно бегать на четвереньках и издавать придушенное чириканье. Это только кажется со стороны, будто любовное прозвище – просто стыдная глупость. На самом деле образ, рожденный при сверхвысоких сердечных температурах, имеет большую и таинственную власть над человеком. Крашенинников, нареченный Бульдогом, научился лаять так, что ему самозабвенно вторила похожая на косматую кочку соседская шавка. Лежа ночью рядом с Лорой, во сне сосавшей подушку, сентиментальный кретин пытался представить, что случится с ним, если его человеческая кошка внезапно умрет. Он воображал, как будет заглядываться на клочковатых помойных мурок, ища холодный цитрусовый взгляд, родной близорукий прищур.

Его человеческая кошка поступила проще: не умерла, а просто смылась безо всяких объяснений. Исчезла, как не было. Оказалось, что к такому повороту судьбы, как и к смерти, нельзя подготовиться. Крашенинников подумывал, не завести ли ему, чтобы избавиться от лишней части самого себя, настоящего бульдога, такого кривонюго зверюгу с измятой мордой алкоголика, каким он и сам видел себя в зеркале. Он даже съездил к собаководам, поглядел на щеночков, розовых под седенькой щетинкой, и пожалел брать такого малыша в свою прогорклую квартиру, где самый воздух, казалось, был использованный, раз и навсегда мертвый. Веселая любовная сказка, которую Крашенинников и Лора создавали друг для друга, теперь не хотела исчезать и

оборачивалась кошмарами наяву. Раз Крашенинников увидел у себя во дворе, на гнилом пяточке возле мусорных баков, широкозадую длинную кошку, белую с черными коровьими пятнами, которая ползла и, тряся плоской головой, жевала что-то тянучее и липкое, точно ела собственные кишки. Потрясенный Крашенинников протянул было руку, но кошка, оставив свое мерзкое лакомство, оказавшееся сизым рыбьим потрохом, уткнулась на полусогнутых за бак и оттуда зыркнула на Крашенинникова зеркальными зелеными глазищами. «Глупости, ерунда!» – можно было сколько угодно повторять эти беспомощные заклинания. Крашенинников дошел до того, что просто не мог терпеть рядом с собой ничего живого.

– Бульдог считал себя очень красивым псом, – как ни в чем не бывало читала соседка. – Он очень хотел победить на собачьей выставке. Но Бульдога не брали на выставки. Кошка очень любила Бульдога и сама наградила его Большой собачьей медалью, которая случайно завалилась у нее в котомке...

Вот именно – случайно. Всякий человек, даже снимающий углы, за время жизни обрастает имуществом. Крашенинников знал таких, кто переезжал с квартиры на квартиру с полным комплектом мебели, чайников-холодильников, обладал какой-то правильной жизнестроительной валентностью, вселявшей уверенность, что со временем интерьер покроется твердью собственных стен. Лора в этом отношении была совершенно

неправильная. Ее зубная щетка, когда она переехала к Крашенинникову, напоминала обглоданную куриную кость. Зато в ее рюкзаке обнаружили вместе с антикварными карманными часами шершавый ком перепутанных золотых цепочек, старая брошка жухлого золота с большой, похожей на сосок, розовой жемчужиной, какой-то бархатный альбомчик с эмалью на крышке, пара не относящихся друг к другу кузнецовских чашек, покрытых просмоленными трещинами. Все это не было семейными реликвиями: так Лора вкладывала деньги, время от времени к ней приходившие. Деньги, разумеется, были не такие, чтобы их можно было поместить во что-то стоящее, хоть как-то ими запастись. Лора, бегая по антикварным лавкам, пыталась на свои гроши купить себе фамильную старину, какие-то ее элементы, не подверженные моральной и финансовой инфляции.

На самом деле она платила налог на бедность, как другие женщины платят за тисненые на китайских клеенчатых сумках громкие логотипы. Что же касается фамильной истории, то Крашенинников только однажды видел Лориного отца: то был мелкий крикливый хозяйчик с головой как высохшая луковка, владевший тремя ларьками на Шестаковском рынке и пытавшийся пристроить дочь к своей пивной и табачной торговле. Почему-то этим насквозь прожженным типом владела простосердечная уверенность, что дочка не станет воровать у папы. В действительности Лора, как-то пару месяцев посидевшая в ларьке, воровала злостно, воровала нарочно, куда там обшир-

ным многодетным украинкам, робко таившим от хозяина копейку, а под конец в ночную смену украсила окошко елочной гирляндой и устроила бесплатную раздачу водки. В результате ларек едва не повалили стянувшиеся со всей округи гуманоиды, среди которых было пополам синюшных, горько воняющих алкашей и обыкновенных, с приличными лицами, граждан; Лору, обсыпанную битым стеклом и матюгами, спасла могучая оконная решетка, сверкавшая, когда ее сотрясали, длинными клоками рваной мишуры.

Лора, как ни странно, мечтала о своей торговле, не имевшей, впрочем, никакого отношения к деньгам. Она рукодельничала. Половину ее приданого составляли самодельные тряпичные куклы с круглыми подсолнуховыми личиками из мешковины, с бесполоыми атласными тельцами, напоминающими червячков. Их Лора одевала в богемные рубища, похожие на рваные рабочие рукавицы, и разыгрывала с ними, когда ее приглашали на писательские выступления, маленькие писклявые спектакли. Еще она мастерила бусики, пестренько раскрашивая шарики из какой-то поделочной массы и добавляя пуговицы, просверленные игральные кубики, поцарапанные ключики от неизвестных замочков – все, что можно было нанизать на нитку. Ей воображалась некая лавка чудес – разумеется, не в реальном мире, а в уютном городке из сказки, скорей из европейской, чем из русской: мощенные лоснистым булыжником узкие улочки, леденцовые окна, скрипучие флюгера, густой и теплый снег, точно сваренный на молоке из манной кру-

пы... Все-таки у Лоры, с ее тряпичными куклами-ведьмами и самодельными талисманами, имелся странный дар одушевления игрушечных вещей, поэтому, должно быть, Кошка и Бульдог оказались такими живучими. Может быть, Лора, где бы она сейчас ни находилась, тоже не в силах сбросить с себя кошачье обличье, потому и написала эту предательскую книжку?

Чтение между тем продолжалось.

— Кошка любила гулять по крышам, — монотонно бубнила тетка, и ребенок, привалившись к ней, страстно заглядывал в ее мигающие сползшие очки. — Бульдог сердился, когда Кошка надолго уходила из будки. Но Кошку тянуло на крыши все сильнее и сильнее. Сидя возле трубы, она придумывала свои волшебные истории. А еще Кошка мечтала научиться летать. Она воображала, что однажды спрыгнет с крыши, но не упадет в кусты, а полетит по небу наперегонки с птицами.

«Уж хоть бы заткнулась!» — мысленно взывал Крашенинников. «Гулять по крышам» на языке Кошки и Бульдога означало ехать в Москву, тусоваться по литературным клубам, разыгрывать там свои кукольные спектакли, раздаривать кукол и бусики высокомерным литературным дамам, встрепанным поэтам, величественным советским классикам, таким же жухлым и пятнистым, как страницы их еще при Брежневе изданных томов. Не было в Москве издательского стола, где бы не болталось в нижнем ящике Лорино кустарное барахло. Лора не возражала, если Крашенин-

ников тащился за ней в столицу. Но стоило ей окунуться в московское литературное варево, как она начисто забывала о его существовании. Предпочитая оставаться дома, Крашенинников ощущал это забвение, как, говорят, ночная мошка ощущает лампу: светоносный провал, пустота, куда неудержимо тянет нырнуть. Насчет «научиться летать» – это тоже было иносказание, и означали слова не что иное, как самоубийство. Лора, маленькая мучительница, любила мечтательно описывать, как она в один прекрасный день прыгнет с высоты и сразу взмоет в небо, не оставив на асфальте грязного пятна расшибленной человечины. Крашенинников не принимал бы этого всерьез, относя суицидные грезы на счет вампиризма творческих натур, если бы не одно обстоятельство. Лорина мать, простая школьная физичка, серьезная, буквально толстокожая, отчего морщины на ее лице ложились тугими гармошками, именно так и поступила: забралась на крышу своей шестнадцатизэтажки, пролетела, точно отбиваясь от чего-то в воздухе, мимо своего окна и страшно булькнула, ударившись о козырек подъезда, с которого много крови брызнуло на посаженную ею клумбу хризантем.

– Кошка и Бульдог часто ссорились, но быстро мирились, – продолжала читать полусонная соседка. – Иногда они играли. Бульдог делал вид, будто хочет съесть кошку. Он укладывал ее в свою миску, делал гарнир из всяких вкусоностей, поливал кошку соусом. Потом Бульдог съедал гарнир, облизывал Кошку и отпускал. Конечно, он не стал бы ее есть, ведь они были друзья!

Крашенинникова окатило жаром. Вставлять такое в детскую книжку! Что за бесстыдство, что за недержание словес, тоже мне, блин, писательница, как у нее пальцы не отсохли! Одновременно перед ним с убийственной чувственной ясностью возникла картина: полумрак, плоский Лорин живот, украшенный толстыми кружавчиками майонеза, рыбный, маринадный вкус ее дрожащей кожи, грудки – треугольники едва припухлой белизны на матовости полинявшего загара, темные, словно подкопченные соски, на которые Крашенинников любил положить помидор...

– Ма-ам, смотри, у дяденьки живот заболел, – громким шепотом сообщил ребенок, показывая пальцем.

– Тш-ш-ш! – испуганно зашипела женщина. – Не мешай дяденьке отдыхать!

– Дяденька хочет в туалет! – уверенно провозгласил ребенок, мягко стуча пятками. – Давай читать громче, он все равно не спит.

Крашенинников заворочался. Надо, в самом деле, уходить отсюда. Умыться да и пойти в ресторан, высосать как можно больше водки, явиться завтра на собеседование с могучим выхлопом, чтобы, как у дракона, из пасти валил огонь. И пусть зануда-шеф плачет потом по этому сраному гранту, Крашенинникову по хрен, на его век работы хватит.

– Вы нас извините, – робко улыбнулась соседка, увидав, что Крашенинников разлепил глаза.

– Ничего-ничего, – пробормотал Крашенинников, обметая с лица дремотную паутину. – Вы читайте-читайте...

– В доме, который охранял Бульдог, жил Пудель, – послушно продолжила соседка, крепко прижимая к себе взъерошенную голову пацана. – Пудель завидовал дружбе Кошки и Бульдога. Он хотел сам дружить с Кошкой. Когда Бульдог нес дозор во дворе, Пудель прокрадывался к будке и звал Кошку в гости...

Вот так номер!

Пуделем Лора и Крашенинников называли шефа – за шарообразную, словно начесанную, белую шевелюру, длинную умильную физиономию, но главным образом – за страстное желание услужить хозяевам фирмы, отчего малейший промах подчиненных вызывал у шефа истерику с расшвыриванием бумаг и беготней по этим бумагам, с крикливыми угрозами немедленно уволить всех и уволиться самому. Лора высмеивала Пуделя за его пристрастие к мелким хорошеньким вещицам – всяким брелокам, зажимчикам для денег, галстучным булавам с непременно бриллиантом размером со шляпку гвоздя. Лора считала, что Пудель скупает вещицы из зависти к большим вещам, которые ему не по карману, что это его игрушки, символизирующие реальность мира олигархов. Поскольку Лора понимала в игрушечном, то Крашенинников с ней и не спорил. Но в последние месяцы перед своим таинственным исчезновением Лора издевалась над шефом с особенной изобретательностью, кстати и некстати заводя разговор о его малопочтенных сединах и театрализованных привычках. Крашенинникову становилось беспокойно, точно шеф, сидя не-

видимкой на краю их разъезженной, как проселочная дорога, супружеской постели, присутствовал при бесконечных домашних скандалах.

Впрочем, Крашенинникову было не до того, чтобы просить для шефа справедливости. Он сам то и дело попадал под удары Лориной ярости, какой-то слишком плотской и грубой для этого отвлеченного существа. Лора как будто сама не находила причины собственной злобы, но причина существовала, раз существовало следствие, и Лора металась по квартире, хватая заведомо ложные раздражители: джинсы Крашенинникова, валявшиеся кучей на полу, забытую под бумагами тарелку с восковыми остатками яичницы...

А может, Лора потому так придиралась к шефу, что ей, влюбленной дуре, просто хотелось о нем поговорить? Интересно, как она называла его в любовных играх: Пуделем или как-то по-другому? Должно быть, обманутым мужьям какой-то специально обученный бес отводит глаза. Вот женщины – те сразу чуют неладное, наставленные рожки у них моментально становятся антеннами, и чем ветвистей наставляешь, тем совершенней делается этот новый орган, пеленгующий мужа на всем доступном ему пространстве. Обманутый муж, наоборот, тупо носит свое костяное украшение, явно забирающее что-то у мозга. Как мог Крашенинников не замечать, что истерики шефа в офисе и домашние скандалы построены на одних и тех же сценических приемах? Это нервное бряцание ложечки в танцующем кофе, беготня по разбросанным вещам, шмяканье в стену кулаком...

– Однажды хозяева дома, который сторожил Бульдог, надолго уехали в отпуск, – читала соседка, испуганно поглядывая поверх очков и раскрытой книги на Крашенинникова, слушавшего теперь вместе с пацаном, требовательно вперившись в чтицу набрякшими бульдожьими глазами. – Они заперли дом, двор и оставили Бульдога без службы и без корма. Кошка звала Бульдога поохотиться или пойти по селениям рассказывать сказки. Но Бульдог лежал в будке и не хотел сдвинуться с места...

Да, было такое. Фирму приморозили, сотрудников отправили в отпуск без содержания на неопределенное время. На Крашенинникова нашла глухая апатия, его даже не тянуло в Сеть. Он действительно целыми днями валялся в постели, волоча на себе куда-то, точно мешок с пожитками, сбитое в угол пододеяльника грузное одеяло. Небо, серевшее в окне, не отличалось цветом от серого потолка и было в таких же сизых и рыхлых протечках, говоривших о том, что жилец наверху, по всей вероятности, пьет. За весь январь и февраль не пробилось и лучика солнца: если шел снег, то его мотало и таскало в воздухе, удивительно долго не пуская прилечь на землю, отчего тусклый воздух напоминал старую киноленту, но чаще лил холодный дождь, и остатки сугробов плавилась на газонах, будто жир на сковороде. Точно так же таяли деньги, но таскаться по слякотной мгле на собеседования с работодателями Крашенинникову было не вмоготу. Он в своей сонной одуре плохо понимал, что происходит вокруг: ему почему-то казалось, что Лора держит-

ся прекрасно – во всяком случае он регулярно получал от нее макароны с черной котлетой и ласковую смутную улыбку. Именно благодарность к Лоре, теплая волна умиления ее небольшим героизмом и поставили Крашенинникова на ноги, а тут подоспело известие, что фирма возобновляет работу. Помнится, шеф явился в офис сильно простуженным и странно возбужденным: он громко кричал из комнаты в комнату и хватался платком за свой покрасневший нос, как хватаются полотенцем за ручку кипящего чайника, казалось, в голове у него бурлят пузыри. Крашениников тогда подумал, что шеф, наконец, решился и украл у владельцев фирмы пару миллионов долларов. А он, оказывается, украл не деньги – вот в чем было дело.

– У Пуделя в доме оставалось много еды, – сбивчиво читала соседка, страшно смущенная прибавлением чужого и взрослого слушателя. – Пудель пригласил Кошку запрыгнуть к нему в окно. Кошка не хотела оставлять Бульдога. Но она подумала, что сможет принести Бульдогу еду и еще узнать, когда хозяева вернутся из отпуска. Но Пудель не хотел, чтобы Кошка продолжала дружить с Бульдогом. Однажды он встал у открытого окна, зарычал и не пустил Кошку.

Вот, значит, как. Лора изменила из лучших побуждений. А Крашениников думал, будто ей, скандалистке, некуда пойти из его квартиры, где фотографии на стенах теперь висели косо, точно сбитые в тире мишени, и под мебелью пылились невыметенные осколки битой посуды. Крашени-

ников бросался за Лорой в коридор, тряс ее за плечи, отчего на запрокинутом лице, испачканном, будто потеками смолы, дорожками слез, возникала та же неопределенная, смутная, лживая улыбка, что маячила ему во время зимней депрессии; он отбирал у Лоры кое-как набитый, закусивший юбку чемодан, сворачивал с ее ослабевших ног, крепко хватаясь за каблук, сырые сапоги. Странно: почему человек, как-то живший до тебя и справлявшийся с собственной жизнью, после кажется уже неспособным существовать самостоятельно? Но выясняется, что Лоре очень даже было куда податься. Шеф благополучно обитал в элитном коттеджном поселке, в нелепом массивном домище под черепичной крышей, удивительно похожем на корову под седлом. Крашенинников там однажды побывал на корпоративном барбекю и запомнил полосатые шелковые диваны на позлащенных козьих ногах, липкий столик поддельного малахита, сияющее пространство туалетной залы, посреди которой царил он, итальянский розовый унитаз, похожий на хищный цветок.

И что теперь? Куда, собственно, влечет Крашенинникова, сгорбленной спиной вперед, этот суетливый, словно задыхающийся поезд? Совершенно ясно, что Крашенинников больше не работает на фирме и грантодатели в Москве его не дождутся. За окном, за узкой полосой мелькания кустов и столбов, как-то сразу, без перехода, начиналось неподвижное лежачее пространство, на котором никак не сказывалась скорость состава: там гасли сумерки, замирали пологие холмы,

светлело округлое озерцо, наполненное, будто глаз, горячей розовой мутью и выпуклой слезой. Впереди у Крашенинникова не было никакой цели. Неужто вся эта нелепая поездка была затеяна только для того, чтобы он узнал, наконец, тайну своей вероломной Кошатины?

– Ну, дальше! – прикрикнул Крашенинников на соседку, бормотавшую все тише и тише и, наконец, боязливо замолчавшую.

– Может, вы сами прочтете? – женщина, почуввав неладное, протянула ему злополучную книгу, раскрытую на какой-то цветастой иллюстрации.

– Ма-а-ам! Не-ет! – вредным голосом запротестовал пацан, и женщина, вздрогнув, закрыла ему рот жилистой рукой, отчего Крашенинников почувствовал себя террористом, взявшим в заложники мать и дитя.

– Читайте, пожалуйста, – попросил он, виновато улыбнувшись.

– Дружба Кошки и Пуделя длилась недолго, – продолжила женщина хрипло. – Сперва Пудель был очень рад Кошке и все время просил с ним поиграть. Но потом Пуделю стало жалко шелковых диванов и пуховых подушек, на которых раньше валялся он один...

Ну, еще бы! Глупая, глупая Лора! Она-то не видела особой разницы между домашним диваном и общественной парковой скамейкой. Никакого чувства собственности. Она была вот именно Кошка: если ее пускали в жилище, она считала его своим. Но шеф, собиравший золоченое благополучие по маленьким кусочкам, психовавший и подличавший, озлобленный на всех, кому вынуж-

ден был платить за работу какие-то деньги, могли он вот так вот запросто разделить свои диваны и камины неизвестно с кем? Он-то думал, что прихватил у слишком высокооплачиваемого сотрудника хорошенькую женщину-вещицу. Но оказалось, что женщина-вещица простодушно думает разделить с ним все, нажитое ценой собачьих седин. Господи, в этом была вся Лора! Внезапно Крашенинникова пронзило странное чувство. Он ощутил, что вот в эту самую минуту, когда за окном проносится шлагбаум с набыченной мордой КамАЗа и соседка переворачивает страницу, Лора где-то существует.

Он вдруг понял, что в реале, как и в Интернете, есть все. Прежде Лора была для него потерянной, исчезнувшей, почти нематериальной. Теперь она возникла снова, как не пропадала. Она уже не была его Лорой, но по-прежнему была его Кошкой. Эти глупые прозвища – они как заклятья, наложенные на человеческое сердце.

– Однажды Пудель искушал Кошку и выгнал ее из дома, – читала соседка, жалобно покашливая. – Кошка очень хотела вернуться к Бульдогу в будку. Но теперь она боялась Бульдога. Она думала, что Бульдог погонится за ней и разорвет на мелкие клочки. Теперь Кошка даже не могла уйти из дома через двор, который охранял Бульдог. Тогда Кошка полезла на крышу дома. Она долго и печально бродила по крыше. Она искала место, откуда могла бы перепрыгнуть на забор и снова пойти странствовать. Наконец, она нашла такое место. Внизу, очень далеко, валялись старые доски с торчащими гвоздями. У Кошки оставалось

очень мало сил. Но она сжалась в комок, напрягла все четыре лапы и прыгнула.

Сначала Кошка стала падать. Она изо всех сил вращала хвостом и извивалась в воздухе, чтобы не упасть на доски. Но вдруг она почувствовала, что летит. Кошка, свободно раскинувшись в воздухе, поднялась над крышей, облетела трубу, потом устремилась вверх, перекувырнулась и потрогала лапой упругое облако. Она посмотрела вниз и увидела, что и Бульдог, и Пудель, и все зайчата, лисята, ежата смотрят на нее и хлопают в ладоши, а маленькие птички машут ей крылышками. Теперь все снова любили Кошку: она научилась тому, о чем мечтала...

Наступило молчание. Поезд несся с угрюмым тюремным грохотом. Дунул в сырую ночь, налетел и оборвался желтый, словно зарешеченный, встречный. Крашенинников сидел неподвижно, уставившись в неизвестную точку.

– Это конец, – несмело подала голос соседка.

– Да, спасибо большое, – прошептал Крашенинников, механически качая головой.

Прошло полтора часа. Соседка спала на верхней полке, неразборчиво причитая и всхрапывая, свесив углом измятую простыню; внизу сопел пацан, раздумываясь до самых соломенных ресниц, высунув из-под сбитого одеяла яблочную пятку. Крашенинников сидел все в той же позе: в одной руке у него была раскрытая детская книжка, в другой, выложенной будто для забора крови из набухшей вены, – мобильный телефон.

За окном, маслянисто отражавшим хаос на неубранном столе, волнами проходила тьма; иногда выскакивали, по одному, по два или по многу штук кряду, морозящие, как душ, слепые фонари. Поезд был тюрьмой. Но впереди у Крашенинникова была пустота, позади – тоже пустота: ни работы, ни целей – все в одночасье рухнуло. Казалось, только пока продолжается это тюремное движение в никуда из ниоткуда – продолжается псевдожизнь. Неужели Лора, подобно своей матери, все-таки сделала это? Страшная неопределенность простиралась вокруг; сердце Крашенинникова было налито бегущей ночной темнотой до самой аорты, и темноты еще оставалось столько, что не вместить и не вздохнуть.

Существовал единственный способ восстановить утраченную жизненную твердь. Крашенинников снова и снова нажимал на соединение, пытаясь поймать наполовину разрядившимся телефоном родной до последней цифры Кошкин номер. Связь возникала на несколько секунд, сеточка плясала над темным безлюдным пространством, неверная и зыбкая, будто грозная молния. Пару раз Крашенинникову показалось, будто он услышал квакающий Лорин голосок, но это, по всей вероятности, был автоответчик. Внезапно, следом за каким-то тугим, с усилием и визгом всех вагонов, поворотом поезда связь загрузилась полностью, из телефона послышались уверенные и громкие длинные гудки.

Крашенинников с хряском рванул купейную дверь и вывалился в коридор, пустой и безумный,

будто отражения в поставленных друг напротив друга тусклых зеркалах.

– Лора! Лора, это я! – заорал Крашенинников, нимало не заботясь о покое спящих купе. – Лора, нам надо поговорить! Я все знаю, про тебя и про шефа, все это морок, глупость, возвращайся домой. Лора, сейчас связь пропадет, я волокусь на поезде в Москву, как последний кретин. Кошка, я тебя люблю! Нет, правда. Ну хочешь, поживем по-родственному, будто брат с сестрой, пока ты снова не привыкнешь. А я книжку твою видел. Ты молодец! Кошка, кыся, связь пропадает. Ты мне только поверь и не делай ерунды. Кошка, дура дорогая, ну возьми ты, пожалуйста, трубку!!!

СТАРИК И СМЕРЧ

Вагонное окно было заляпано высохшей рябью дождя, точно на нем чистили рыбу. Кира Матвеева, стильная московская журналистка, резко выделявшаяся среди смурных и комковатых пассажиров поезда местного следования, жадно вглядывалась сквозь эту шершавую муть в расстилавшийся пейзаж. Пейзаж был плоский и низкий, полосатый, как домотканый половики; волглая травяная зелень перестилалась слабенькой желтизной каких-то хлебов, то и дело появлялась длинная полоса купоросно-синей воды, в которой, будто перевернутые лодки с брошенными веслами, мокли полузатопленные избы. Гораздо интереснее земли было небо, от которого Кира ожидала не больше и не меньше как решения собственной судьбы. В помине не было на этом небе крутобоких и жарких июльских облаков; тут и там, ниже перистого серебра, висели темные сгустки, и в них происходило движение, точно в воду капали чернила. Кира с замиранием сердца ждала, что из одного такого беспокойно-

го сгустка вот-вот свесится белесый и острый, похожий на крысиный хвост, разрушительный смерч.

Все стало другим за последние несколько лет. Давно уже не было в Москве морозной, румяной зимы, ее сменила сырая бессолнечная хмарь, и Кира уже не помнит, когда надевала свою дизайнерскую, три года как новую, норковую шубку. На полюсах таяли льды, надувался пресной водой Мировой океан. В Сибири поплыла потихоньку, будто жирок из стейка, вечная мерзлота, в тайге образовались «пьяные» пятна, где вековые кедры стояли вкривь и вкось, словно карандаши в стакане, в Норильске, Магадане, Воркуте построенные на сваях блочные дома осели и порвались, точно сырые картонные коробки. А на Русский Север явилась редкая прежде напасть: торнадо, эти заморские Змеи Горынычи, гуляли теперь по Ярославской, Костромской, Вологодской областям, точно у себя дома. Если раньше по всей России торнадо случались два-три раза за лето и самым знаменитым считался московский смерч 1904 года, высосавший Язу и Люблинские пруды, то теперь не проходило недели, чтобы в новостях не показали облетевший, как цветик, дощатый сарай и смутные тени летающих коров. Теперь коридор от Костромы до Белозерска соперничал со знаменитой американской Аллеей торнадо, идущей через четыре штата, от Техаса до Миссури.

Русские северные смерчи отличались от североамериканских, тоже весьма участившихся, какой-то особенной, заточенной злостью. Хищные

и узкие, отчего скорость их вращения многократно возрастала, они вычерчивали по городкам и пашням черные автографы шириной не более пяти десятков метров. Далеко не каждый «крысиный хвост», свесившийся из беспокойного, прошитого нитками электричества, материнского облака, достигал земли, но достигший шел, как сверло, в вихре обломков и тьмы, сам напитывался этой тьмой, становясь из белесого бурым. Материнская туча, присосавшись смерчем к земле, словно получала питание и, раздобрев, густела. Все это вместе напоминало гриб – гигантскую кружевную поганку на тонкой ножке; из-за сходства с грибом местные жители сперва принимали смерч за атомный взрыв.

Однако скоро дело прояснилось, и местные удивительно быстро привыкли. В обеих столицах кипели дискуссии, создавались и лопались, надувшись деньгами, фонды помощи жертвам катаклизмов, офисный планктон, добравшись утром до компьютеров, первым делом припадал к новостям. А здесь, на просторном и протяжном Русском Севере, где Земля, как и тысячу лет назад, была плоской, стояла тишина. Почти на каждом подворье имелся погребок, где хранились, точно заспиртованные гады в музее, засоленные пять и десять лет тому назад огурцы и грузди; там местные жители, по милости Божьей, спасались от плясавшей над их льняными и соломенными макушками заморской напасти. За отпущенные смерчу два часа он успевал пройти километров пятьдесят, а потом распадался в воздухе и в памяти тех, кто не пострадал, ну, а уж на кого при-

шлось – тому не повезло. Местные как бы признали за смерчем его права; они оставляли как есть его черные каракули, лишь иногда растаскивая обломки, полезные в хозяйстве. Убивало людей не очень много, да и смерть сама по себе была делом обычным, больше, чем о покойниках, местные судачили о диковинных проделках смерча – о сухих травинах, впившихся, как стрелы, в матерые бревна, о колоколе, унесенном с колокольни и скрученном на манер конфетного фантика. Гораздо более чувствительный и общий урон приносили дожди, отвесно падавшие из туч и часто выполнявшие зараз месячную норму осадков. Крупный град лупцевал посевы, расхлестывал теплицы, скакал, как туча блох, по перелатанному сельскому асфальту, таял холодными грудями в размокших огородах. Вся эта масса недоброй небесной воды угнетала людей, пропитывала местность какой-то тяжелой печалью.

Среди всех был один человек, которого смерч словно выбрал себе в друзья. Или, наоборот, этот человек решил поиграть со смерчем в азартные игры. К нему и ехала Кира, чтобы взять у него интервью.

Человек этот пережил в свое время всенародную славу. Кирилл Смоляков, заслуженный артист и Герой Соцтруда, был, как сказали бы сегодня, одним из самых притягательных секс-символов советского кинематографа. Удивительно крепкий и чистый лицом, с носом, как молодая картофелина, и золотыми есенинскими кудрями, которые советская мода укладывала зимней шап-

кой, Смоляков был будто слиток здоровья, что в начале семидесятых воспринималось как что-то совершенно нерусское, бойскаутское, вывезенное вместе с джинсами и винилом из-за железного занавеса. Над миллионами девичьих постелей висели портреты Смолякова, вырезанные из журнала «Советский экран»; оттуда кумир смотрел на своих анонимных невест ясными синими глазами, которые умели темнеть и мерцать, когда артист клонился с поцелуем к сомлевшей героине, держа всей ладонью ее пушистый затылок, как держат головку младенца. Смоляков был мастер трогательного жеста; в молодости он играл правдолюбивых комсомольцев и мечтательных интеллигентов, уехавших работать на село. Позже, когда артист заматерел и правильный овал подбородка превратился в увесистый квадрат, а от кудрей остался пух, кумиру выпало сыграть в эпопее к юбилею Победы знаменитого командующего фронтом. Вся страна словно поехала вместе с ним на замызганном «виллисе» по разбитым фронтовым дорогам, пожила в его штабном блиндаже, где герой, откусывая от краяхи, низко склонялся над картой, на которую от пухлых бутафорских взрывов сыпалась земля.

Наступили перемены: репутация знаменитого командующего фронтом сильно полиняла от вылитых на нее ушатов чистой и мутной воды, ясноглазые комсомольцы, которым Смоляков честно отдал частицу себя, стали бизнесменами в пиджаках от Версаче, сидевших так, будто во все карманы было что-то понапихано. Артист исчез. По слухам, Смоляков пытал счастья в Голливуде, потом вернулся.

Несколько раз он, худой и обморщивший, мелькнул в сериалах на третьих ролях, потом пропал окончательно.

И вот уже год, как Смоляков снова не сходил с экранов. Центральные каналы крутили ретроспективные показы его наивных выцветших фильмов, в галдящих ток-шоу к месту и не к месту показывали хронику, где Смоляков, надвинув на брови мужицкую кепку и широко расставив ноги в кирзовых сапогах, стоял на фоне деревянного северного домины, такого громадного, что бревна в нем казались спичками. Домина был странно подшиблен и полосат: старые серые бревна цвета железа и паутин чередовались в нем со свежими, недавно ошкуренными; грубые деревянные украшения по краю крыши, тоже местами новые, напоминали вставные зубы. Этот домина и сделался предметом тяжбы Смолякова со смерчем.

В общих чертах история выглядела так. Артист, вышедший в тираж и не имевший денег даже на сарайчик в ближнем Подмосковье, забрался в глушь, купил буквально за копейки могучую усадьбу в старинной, постарше Москвы, деревне Важа, некогда стоявшей узорным кокошником на зеленом взгорке над глубоким и округлым Вадозером, ныне почти заброшенной жителями. Теперь деревню затянуло мокрым сорняком, бревенчатые домины, простоявшие по сто и двести лет, напоминали скелеты вымерших мамонтов. Однако смерч, пришедший четыре года назад со стороны мирного березового перелеска, не тронул эти седые развалины, но прошелся аккуратно

по дому Смолякова, разметал крышу, снял полы на втором этаже, вынес утварь и раскидал ее, покореженную, по непролазным, как ельники, зарослям крапивы. После таких разрушений Смолякову было бы проще занять любой пустующий дом, который поцелей, тем более, что хозяева этой древней недвижимости, равно как и их наследники, давно растворились в пространстве. Однако артист оказался упрям. При помощи местных мелких мужиков, узнавших в отшельнике знаменитость и коллективно думавших, что Кирилл Дмитриевич если и не командовал фронтом, то уж точно воевал, Смоляков восстановил домину, поправил повисший забор.

Следующий смерч образовался над озером, всхлипнувшим и быстро перебравшим привязанные лодки. Некоторое время озеро с белесым крутящимся столбом и облаком водяной холодной пыли напоминало гигантский фонтан. Дальше смерч, насосавшись воды, пошел не влево и не вправо, но ровно на то место, где вкусно желтел свеженастеленной крышей дом Смолякова. На этот раз смерч обгрыз домину до самой русской печи, оставшейся торчать будто кирпичная кочерыжка среди хаоса изломанных бревен. Мужики, потерявшие лодки и снасть, но зато получившие дождь из обезумевших, жестоко хлеставшихся сигов, очень уговаривали Кирилла Дмитриевича бросить от греха меченое место. Но артист не послушал и как-то так сам воздействовал словом на аборигенов, что они, покачав лохматыми, похожими на вылущенные сосновые шишки, головами, опять принялись плотничать. Домину вос-

становливали из собственной его порушенной плоти, лишь по крайней необходимости добавляя покупного свежего дерева. Управились удивительно споро и быстро; даже нашелся мастер, расписавший наличники жаркими курчавыми цветами.

Теперь ответный ход был за смерчем. По человеческим понятиям, третье разрушение дома было крайне маловероятно. Но по меркам нечеловеческим – а нечеловеческое буквально сгушалось в воздухе – третьего смерча следовало ожидать в самом ближайшем будущем. Так жила бывшая знаменитость, между одной вероятностью и другой, точно бусина на туго натянутой нитке. Конечно, Смоляков не мог ожидать, что в эту его, укрытую расстояниями и непогодой, совершенно частную жизнь вдруг ползет без спроса множество людей.

Первым про упрямого мужика, вставшего и не сошедшего с пути стихии, услышал репортер вологодского канала Костя Вожеватов – долговязый честолобец с лицом как жареное рыбное филе, все мечтавший откопать сенсационный эксклюзив. Он и снял ту самую хронику, что впоследствии крутило, выплачивая Косте некоторые деньги, столичное телевидение. В тот момент, когда Вожеватов нацелил камеру на старикана, шедшего прямо на него по изрытому двору, напоминавшему грядку с выдернутыми из нее гигантскими корнеплодами, он еще понятия не имел, кто перед ним. Какова же была Костина радость, когда, уже в Вологде, не добившись от старого

хрена ничего кроме матерщины, он вдруг сообразил, что этот Смоляков, наряженный по-местному в засаленный «пенжак» и поломанный картуз, и Смоляков из кино, похожий одновременно на Сергея Есенина и Джона Кеннеди, — один и тот же человек. Именно благодаря Костиной энергии, жегшей и пекшей его изнутри, история раскрутилась в Москве, оставив, впрочем, самого Костю на прежнем месте, в темненькой, треснутой по потолку, вологодской квартирке, где засушенными ромашками висели дохлые пауки. Все, что обломилось Косте за труды, — это длинный, грубо перекрашенный «крайслер» восемьдесят пятого года выпуска, застревавший, как доска в мешке, на пыльных грунтовых дорогах, по которым все так же пролегли Костины репортерские маршруты.

История в Москве очень понравилась. Стране для поднятия тонуса требовались народные герои, и политики плохо представляли, как наделать необходимых персонажей без особого кровопролития, а тут такой случай. Кирилла Смолякова объявили воплощением русского духа, символом национальной стойкости и стремления отстраивать страну на том самом месте, где она находилась от века, из тех самых развалин, в которые ее превратили. В деревню Важа потянулись столичные гости: журналисты, продюсеры, представители думских фракций. На Смолякова посыпались предложения участвовать в ток-шоу, баллотироваться по партийным спискам, сниматься в кино. Теперь Смолякова мечтали заполучить все модные режиссеры, выпекавшие военно-приключен-

ческие сериалы с красной начинкой, и не только они. Самым грандиозным и бюджетным был пивной рекламный проект. Там по замыслу продюсера Смоляков должен был произносить с высокого крыльца своего восстановленного дома: «На том стоим и стоять будем! Пиво “Дружина”», — и медленно отхлебывать из бокастой малиновой банки. Поскольку всякий продукт российского производства позиционировался теперь в историко-патриотическом ключе, то Смолякова мечтали также привлечь к рекламе обувной линии «Сударь», орешков «Великая Сибирь» и парфюма «Мономах».

Кириллом Смоляковым полнился Интернет. Фанаты артиста создавали безумные сайты, где вывешивались откровения пожилых поклонниц, якобы состоявших с молодым Смоляковым в тайной любовной связи, и воспоминания контактеров, якобы встречавшихся с Кириллом Дмитриевичем на борту летающей тарелки. Незаконных детей у Смолякова обнаружилось больше, чем у лейтенанта Шмидта. Особенно всем было интересно, пройдет ли смерч в третий раз по восстановленной доmine Смолякова или не пройдет. Букмекерские конторы принимали ставки с коэффициентом 8,5–9,2: это означало, что интернет-игроки больше доверяли теории вероятности, нежели непознанной силе, шевелившейся, точно рука в рукавице, в каждой загустевшей вологодской туче. Сперва на золотую жилу набросились отечественные букмекеры, но через некоторое время сломалась даже Gamebookers, теперь принимавшая ставки на Smoliakov наравне

с клубом «Челси». В результате на Смолякове, точно на гвозде, висели буквально мешки денег. Многим игрокам мерещилось, будто ключик удачи запрятан где-то на территории былинной смоляковской усадьбы, и если поговорить с артистом по душам, он откроет секрет. Преисполненные надежд, они наперегонки с репортерами устремились к деревне Важа, добираясь по вязкому рыжему проселку, где автомобили застревали, точно мухи на клейкой ленте, или по Вад-озеру от ближайшей железнодорожной станции в нанятых задорого дощатых лодчонках, вторивших визгом уключин тоскливым и пронзительным чайчьим крикам.

Однако же ни у кого ничего не вышло.

Волны ходоков и ездоков разбились о высокий, сколоченный из морщинистых мумифицированных плах смоляковский забор. Ворота на петлях кованого, изъеденного временем железа всегда оставались заперты. Смоляков в кратчайшие сроки, выдирая стройматериал из дремучих, пахнувших сырой землей важинских развалин, превратил свою усадьбу в крепость. Всякий, кто приближался к забору, тотчас отшатывался: немедленно, будто собственная тень человека на этом заборе, с обратной стороны возникала громадная собака. Невидимая, она бросалась на плахи и лаяла так, что отдавалось в лесу. Немногие смельчаки, сумевшие при помощи разных приспособлений заглянуть за забор, утверждали, что эти зверюги голые и черные, будто обтянутые толстой резиной, и морды у них напоминают чудовищные черные розы. Никому из

пришлых не удалось вызвать Смолякова на переговоры: ответом на многочасовые крики и призывы обыкновенно был одиночный выстрел в воздух, от которого словно что-то обрывалось в самом зените. В отместку переговорщики исписали и изрезали неприступный забор разными непристойными надписями и спалили в деревне несколько заброшенных домов, горевших кисло и хрипло, долго струивших из-под обугленных бревен едкие белые дымки.

При всех этих обстоятельствах у Киры Матвеевой были основания считать, что именно она сумеет добиться встречи с артистом и получит от него нечто гораздо более существенное, чем просто интервью.

Больше всего на свете Кира Матвеева любила деньги. И знала доподлинно, что Кирилл Смоляков, несмотря на странности нынешнего поведения, любит то же самое.

Между Кирой и Смоляковым существовала связь. В этом Кира убедилась абсолютно с первого просмотра той самой мутной и дерганой хроники, что посчастливилось снять какому-то вологодскому придурку. Там, за квадратным плечом надвигавшегося Смолякова, она увидела дерево — подсохшую старую пихту с каркасом словно бы из проржавевшей железной арматуры и с тем особенным строением шершавого ствола, что вызвал в груди у Киры горячий толчок. В сыром глубоком дворике, где прошло ее московское детство, росла тоже очень старая, оплывшая, неряшливая липа, обладавшая той

же, моментально узнанной, особенностью: все время казалось, будто за ее стволом, похожим на ком иссохшей земли, стоит человек. Маленькая Кира, обмирая от коленок до банта, часто пыталась увидеть того, кто прячется. Но тот человек всегда оказывался проворнее и ловко отступал, продолжая таиться и глядеть на Киру, с какой ни зайди стороны. Он был все время там, за липой, – грустный, внимательный, словно бы несправедливо обиженный. В детстве Кире казалось, будто человек за деревом – ее исчезнувший отец.

Мама Киры, Ниночка Матвеева, никогда об отце не говорила. Она была художником-гримером, всю жизнь моталась по киносъёмкам и особенно часто работала с Кириллом Смоляковым. Дома хранились реликвии: фотоснимки в бархатном альбоме, на которых Смоляков, всегда серьезный, обнимал Ниночку, всегда смеющуюся, на фоне рижской мокрой улочки, на фоне разомлевшего моря, на фоне какого-то мраморного ангела с крыльями до пят и воздетым крестом. Имелась также гипсовая маска Кирилла Смолякова, более всего похожая на старый тапок: на ней Ниночка Матвеева когда-то делала артисту пластический грим, примеряя накладные носы и подбородки из латекса. Разумеется, все это еще ничего не доказывало. Отчество у Киры было Николаевна, то же, что и у матери: Кира подозревала, что это был один и тот же, равно несуществующий Николай, потому что никакого деда она не помнила. Зато ее мужское имя, редкое для конца семидесятых, говорило о многом. Наверное, Ни-

ночка хотела сына, а получилась дочь. Утешение, блин, на старости лет.

К сожалению, никакого внешнего сходства со Смоляковым Кира у себя не находила. Она была полная копия Ниночки: глаза небольшие, но яркие, будто ограненные стеклышки, каллиграфически круглые бровки, ямочки на щеках. Сердась на Ниночку за многое – за мечтательность ее и нищету, за любовь к сладкому, за эту темную квартирку на первом этаже с низкими, давно не белеными потолками, словно обмазанными глиной, и ржавым, как перечница, душем на резиновой кишке, – Кира показательно исправляла то, что получила в наследство. «Вот, маменька, как было надо», – мысленно повторяла она, вытягивая кудряшки парикмахерскими утюгами, придавая глазам при помощи татуажа и макияжа холодную презрительную глубину. В сущности, Кира не прощала Ниночке ни единого дня из ее нелепой и беззаботной жизни. Прорубая себе карьеру в деловом еженедельнике, рискованно хватая куски рекламного пирога, живя на антидепрессантах, сообщавших миру как бы легкое кружение по часовой, туда, где кончается всякая тревога и грусть, Кира видела Ниночкино существование как ветхий женский рай с конфеткой за щекой. «Вот я могу, почему ты не сумела?» – мысленно спрашивала она у матери и, возможно, получила бы какой-то ответ, если бы Ниночка не скончалась восемь лет назад от рака молочной железы.

Кира любила деньги, и это было хорошо, потому что было правильно. Однако в этой любви, как и во всякой другой, для счастья требовалась вза-

имность. Кира много зарабатывала трудом, равными нервами, но, подобно Данае, грезилась о золотом дожде. Обещанием золотого дождя манили разубранные гирляндами, словно спускавшие по ниткам самоцветы, ночные казино: если прищуриться, могло показаться, что все это текучее цветное электричество обрисовывает вовсе не те обыкновенные здания, что стоят на земле в действительности, а какие-то волшебные шатры. Там, где шла игра, истаивали грубые законы материального мира, и человек, будто в храме перед богом, предстал перед своей удачей. Туда железная Кира, о которой не позаботились ни потрепанная кукла Ниночка, ни фантомный отец, устремлялась за любовью и щедростью. Ее бесконечно волновало вращение лакового колеса, сухой и сбивчивый стрекот шарика в нем, переходящий по мере приближения к результату в барабанную дробь; ее завораживали прозрачные пальцы девушек-крупье, помеченные для видеонаблюдения алым маникюром, плавно посылающие игрокам твердые новенькие карты. Делая прикуп, выкладывая шершавую фишку на заманчивую, словно округлившуюся в глазах клетку игрового поля, Кира испытывала горячие толчки узнавания, какие мог бы испытывать детдомовец, увидевший родную мать. Она не могла спокойно пройти мимо размалеванных, как клоуны, игровых автоматов, делала ставки в Интернете. По-научному это называлось лудоманией, но Кире казалось, что во время игры человеку открывается какая-то очищенная от житейского, бытийная истина.

Ей было известно, между прочим, что тяга к азартным играм у нее наследственная. Ниночка не то чтобы рассказывала напрямую, но как-то из ее воспоминаний выходило, что Смоляков был завзятый карточный игрок. Получалось, что в том бутафорском блиндаже, как только в съемках наступал перерыв, поверх фронтовой карты, покрытой жилами коммуникаций и хищными стрелками армейских наступлений, ложилась засаленная и заласканная колода. В руках у Смолякова она буквально оживала, распускалась, как цветок, лилась ручьем, протягивалась, играя мастями, между широко расставленными пальцами. Смоляков умел движением руки, словно изображая ее тенью на стенке важного гусака, вынуть из-за уха зрителя загаданную карту. Однако актер был более счастлив в карточных фокусах, нежели в самой игре: например, гонорар за эпопею он просадил еще до окончания съемок всенародного фильма. Карточные долги он отдавал всегда. На это Кира рассчитывала как на свое последнее средство.

Положение у Киры, сказать по правде, было незавидное. Она проиграла много, очень много, даже страшно подумать, сколько. Острое чувство сиротства, испытанное в тот момент, когда мама-удача отвернулась от нее, бросила, будто за что-то наказанную, посреди игрального торжища, теперь гнало упрямую Киру к этому странному человеку, Кириллу Смолякову, фантомному отцу. Увидев в хронике дерево, за которым отец простоял все ее голодранское детство, Кира больше не сомневалась в своей догадке: игра,

языческая близость к удаче и судьбе научили ее прислушиваться к иррациональным толчкам бытия. Кира решила завладеть отцом как своим естественным ресурсом, убедить его сняться хотя бы в рекламе пива в уплату отцовского долга, а лучше взять все то жирное, вкусное, что само плывет в его кривые стариковские руки. Кроме того, Киру неудержимо тянуло на то самое место, куда тянулся и чем-то соприродный ей таинственный смерч: все свои последние деньги, все занятые деньги плюс деньги, вырученные за продажу любимого «форда», Кира поставила на то, что дом Смолякова будет разрушен.

Поскольку автомобиль Кира продала, ей в деревню Важа оставался единственный путь: по железной дороге, а потом по воде. Лодка, которую она наняла за совершенно бессовестную плату, напоминала дохлого таракана и так же дурно пахла; на дне болталась бурая водица, точно мертвая лимфа насекомого, и в ней белели, будто макароны, выполосканные дождевые червяки. Вад-озеро лежало светлое и тяжелое, весившее, казалось, больше всего, что было по берегам; над ним сизой железной окалиной играл неяркий северный закат, а на другой стороне горизонта сгущалось и погромыхивало. Мужичонка, хозяин лодки, сильно дергал веслами в воде и озирался, его небольшая, размером с яблоко, плешь от каждого гребка наливалась краснотой.

Торопились, но не успели: под самым важинским берегом косо ударил дождь, закипела во-

да, и мужичонка еле взгромоздил пассажирку из черпнувшей лодки на скользкие черные мостки.

– Можа, подождать тебя, журналистка?! – крикнул он ей из-под надвинутого на самую бороду брезентового капюшона. – Кирилл-то Дмитрич тебя не пустит! Он никого не пускает!

– Меня пустит! – проорала Кира и выстрелила навстречу ливню куполом зонта.

– А как хошь тада, ночуй, где хошь! – раздосадованно кукарекнул мужичонка и схватился за весла.

Он еще что-то кричал, ковыряя веслами в потемневших волнах, но Кира не слышала: треск ливня по зонту, напоминавший рассыпчатые радиопомехи, совершенно ее оглушил. Она полезла вверх по косогору; тропинка скользила под подошвой, будто смазанная растительным маслом, рюкзак сползал с плеча, ветер и дождь играли городским несерьезным зонтиком, словно детским мячом.

Непогода входила в планы Киры, но в деревне ей стало не по себе. Заброшенные домины чернели, будто облитые дегтем, мокрые колеи широкой, совершенно безлюдной улицы отливали свинцом. Луч карманного фонаря, полный воды, напоминал отмываемую под краном молочную бутылку и казался таким же тяжелым и скользким в заочневшей руке. По счастью, Кире не пришлось плутать: усадьба Смолякова была единственной, чьи окна светились в темноте той слезливой желтизной, какая бывает в глазах у старых собак.

Через небольшое время она оказалась возле смоляковского забора, глухого и длинного, будто товарный состав. При беззвучной вспышке молнии Кира увидела, что забор исписан вкривь и вкось свежими надписями поверх истертых и размытых. Перед могучими воротами шипела, как сковородка, огромная лужа, в ней плавали, виляя под ударами струй, два мутных пластиковых баллона из-под пива «Дружина». Вяко чкаяя зубами, Кира постучала по разбухшему дереву костяшками пальцев и сама ничего не услышала. Вмазала ладонью, пнула раскисшей кроссовкой, бросилась всем телом: с той стороны на воротах подпрыгнули и лязгнули мокрые железные засовы.

– Смоляко-ов! Откройте! Смоляко-ов!!! – закричала Кира что было сил.

Сквозь утробное ворчание грома с той стороны забора послышались шаги, точно шлепало по воде пароходное колесо. Брякнула железка, в воротах открылось круглое отверстие, налитое неверным светом, потом оно потемнело и моргнуло.

– Чего надо? – послышалось близко из-за досок.

– Кирилл Дмитрич! Вам! Привет! От Ниночки Матвеевой! – сдавленно выкрикнула Кира, не попадая зубом на зуб.

Человек издал странный клокочущий звук, продолжая моргать в самодельный глазок.

– Я представляю «Деловой курьер»! – в отчаянии добавила Кира, и тотчас на глазок упала тяжелая заслонка, а человек по ту сторону во-

рот словно растворился в нахлынувшем плеске дождя.

Казалось, сильнее лить уже не может — и все-таки напор воды, падавшей из грозовых подсвеченных недр, снова сделался крепче и жестче. Зонт давно промок насквозь, обвис на ломких спицах, изнутри плавала и тихо мочила голову водяная пленка. При белом трепете разрядов Кира чувствовала себя холодной, бледной, скользкой покойницей — покойной матерью, быть может, пришедшей к любовнику спросить с него за свою погубленную жизнь. Эта странная мысль о матери сообщала Кире какую-то неуязвимую, бесчувственную правоту: она кидалась на ворота так, что брызгало из щелей.

Боковым зрением она давно наблюдала торчавший из-за понурого куста большой и плоский железный чемодан. Внезапно чемодан включил фары, и из водяной и электрической мути выбежал горб на ножках — какой-то мужик, укрытый курткой с головой.

— Девушка! Садитесь в салон! — позвал он, приплясывая, точно дождь стрелял ему под ноги из пистолета. — Эта сволочь там засела и не откроет ни за что! Хоть тут все передохнут! Да не бойтесь меня, я коллега ваш, Вожеватов Константин! Садитесь, а то еще ляжете тут у него под забором!

— Пошел на хер! — сорванным голосом крикнула Кира, заслоняясь жалким зонтом от неожиданного конкурента.

Вдруг сзади кто-то грубо схватил ее за локоть и поволок в приоткрытую, прежде незаметную калитку. От неожиданности Кира икнула и выпу-

стила отпрыгнувший зонт, не прошедший в тесную щель. Она увидела, как Вожеватов, раскорякой бухая прямо по луже, бросился вперед, чтобы тоже успеть и протиснуться. Но не тут-то было: калитка, низенькая и толстая, будто пресованный деревянный кирпич, немедленно захлопнулась.

Домина, открывшийся Кире при свете двух, словно воткнувшихся друг в дружку, молний, был похож не на человеческое жилище, а на громадный, мокрый штабель дров. Человек в черной от влаги армейской плащ-палатке, бывший, вероятно, Кириллом Смоляковым, волок ее, однако же не к дому, а куда-то вбок, в темноту. Внезапно Кира струсила: ей показалось, что Смоляков, сойдя с ума, решил ее убить. Тем не менее цепким репортерским взглядом она успела увидеть, что пихта с мертвым боком, похожим на полный воды моток колючей проволоки, стоит на месте и что забор исписан с внутренней стороны не менее агрессивно, чем с наружной.

Впереди прямо из земли торчала труба, накрытая горелым железным колпаком; из трубы ощущаемый скорее по печному запаху сочился дымок. В руке у Смолякова качался стеклянный фонарь размером с маленькую птичью клетку с тусклой струйкой внутри, он осветил покрытые грязью дощатые ступени, ведущие под землю, и низенькую дверь.

Внутри на Киру пахнуло горячей, спертой духотой. Она с удивлением огляделась. Перед ней был в точности тот самый блиндаж, где снимали

знаменитое кино. Стены, сложенные из грубо ошкуренных бревен, были обсахарены смолой, сопела и посвистывала, будто маленький паровоз, чугунная печка-буржуйка, на столе, застеленном полинявшими, истертыми на сгибах фронтowymi картами, лежала окаменелая хлебная краюха, казалось, оставшаяся со съемок, а то и с самой войны. Однако же в углу, откуда обычно работала камера и куда не заглядывал зритель, висела на бревнах дорогая, ужасно пыльная плазма, на стеклянном, офисного вида, стеллаже валялись в полном беспорядке DVD-диски, разбухшие книги на английском и русском. Черная собачонка с лохматыми висячими ушами, похожими на девчоночьи «хвостики», суежилась у ног, не зная, твякнуть ей или улыбнуться.

– Я живу здесь, – густым актерским голосом произнес Смоляков, откидывая капюшон.

– Ст-транно, почему не в доме, – вылепила Кира непослушными мыльными губами, вытирая мокрым рукавом совершенно мокрое лицо.

– Переоденьтесь, – Смоляков протянул трясущейся Кире тряпичный сверток. – Там, – он указал на ветхую ситцевую занавеску в розовый цветочек.

За занавеской оказалась железная кровать с побитыми дочерна никелированными шарами, застеленная красным стеганым одеялом в неглаженном пододеяльнике, напоминающим деревенский пирог с клюквенным вареньем; над кроватью были устроены нары, откуда свисал трухлявый матрас. На Кире промокло все, даже трусы, превратившиеся в полоску холодного клея; их

Кира не решилась повесить, вместе с остальной набухшей одеждой, на кроватную спинку, только отжала потихоньку на дощатый пол, покрываясь тугими резиновыми мурашками. В свертке обнаружилась старая, словно обметанная ваткой, фланелевая ковбойка и дешевые стиранные джинсы, мятые, точно грубый кусок оберточной бумаги. Надев все это кое-как и присвоив торчавшие из-под кровати войлочные опорки, Кира вышла, точно под камеру, в бутафорский блиндаж.

Смоляков сидел за столом, на котором появилась миска горячей печеной картошки, толсто накрамсанная колбаса и закопченный чайник странной неправильной формы, похожий на гриб, испачканный в земле.

– Поешьте, – произнес актер, вперившись в Киру тяжелым властным взглядом командующего фронтом. – Потом вы ляжете спать. Утром вы уйдете. И никаких интервью.

У Киры от голода заурчало в желудке. Обжигаясь и губя маникюр, она схватила черную картофелину, выломала из горелой и бурой кожуры, толстой, как древесная кора, сладчайшую рассыпчатую мякоть. Смоляков налил ей в алюминиевую кружку крепкого чаю с распаренными лохмотьями заварки, при этом чайник ненадежно виллял на вздыбленной ручке и норовил плеснуть дымящимся на фронтовую карту. Край накалившейся кружки жалил губы, но Кира выглотала сразу половину и схватилась за колбасу.

Насытившись допьяна, она наконец впрямую посмотрела на Кирилла Смолякова. Некогда ясные синие глаза побелели и будто замерзли, под

глазами висели мешки, точно вылепленные пальцами из той морщинистой массы, в какую превратилось сожженное годами и гримом актерское лицо. Казалось, будто Тот кто творит все человеческие лица, теперь создает из обвислого замеса нечто совершенно новое и делает это вручную.

– Скажите, я похожа на маму? – с вызовом спросила Кира, вытирая липкие угольные пальцы тряпичной ветошкой.

– Не очень. Ваша мать красавица, – равнодушно ответил Смоляков.

Сидя вполоборота к незваной гостье, Смоляков кидал кусочки колбасы юлившей перед ним собачонке, из которой воображение других незваных гостей понаделало черных монстров, охраняющих усадьбу. Кира разозлилась, и злость моментально прочистила ей мозги. Она внезапно поняла, что там, у ворот, после сообщения о «Деловом курьере» Смоляков никуда не уходил, затаился под покровом ливня в своем брезентовом куколе. И еще она, наконец, увидела то, что давно разыскивала глазами: карточную колоду.

Карты были разложены на табурете, заменявшем Смолякову прикроватную тумбочку, и по их мучительному взаимному расположению Кира сразу догадалась о природе одиночества старого игрока: невозможно без участия другого человека вызвать на свидание свою удачу, оказаться там, где витает ответ на твой самый невысказанный и самый главный вопрос.

– А не сыграть ли нам в покер? – небрежно предложила Кира, опытным взглядом схватывая,

какая именно игра пыталась наметиться на спиритическом табурете.

Взгляд Смолякова сразу сделался голодным, и он осклабился, показывая слишком ровные, откровенно искусственные зубы, почему-то наводившие на мысль о черепе, в котором они когда-нибудь будут вот так же чужеродно выделяться.

– У вас при себе лишние деньги? – осведомился он незаинтересованно.

– Нет. Ни здесь, ни в Москве, ни лишних, ни вообще никаких, – честно призналась Кира. – Но мы можем сделать другие ставки. Например, если я выигрываю, вы отвечаете на вопросы интервью. И говорите правду, – поспешно добавила она, заметив в глазах Смолякова нехороший болотный огонек.

– А если проиграете? – сухо спросил Смоляков.

– Тогда я совсем ничего про вас не напишу, – заявила Кира, чувствуя в кончиках пальцев жужжание азарта. – Ни про этот блиндаж, ни про матюги на заборе с внутренней стороны, ни про карты на табуретке. Хотя могу, вы же понимаете, сама сочинить ваши ответы на мои вопросы. В крепость-то вашу я попала, вон, свидетель имеется, у ворот сторожит.

– Это шантаж? – внезапно повеселел Смоляков, цокнув по столешнице похожими на ломаные костяные пуговицы желтыми ногтями.

– Да, что-то вроде этого, – вкрадчиво улыбнулась Кира. – Ну как, играем?

– Идет! – Смоляков, перегнувшись, вытянул из-под каких-то рыхлых свитеров гниловатый

мешочек и из него высыпал на стол груду земляных и позеленевших советских пятаков, вероятно, найденных в одной из заброшенных усадеб. – Вот, условные единицы! Могу дать вам фору в двадцать процентов.

– Форы не надо. Но раз колода ваша и она распечатана, я играю за дилера.

– Нет уж, имеем и нераспечатанную. Так что сдаем по очереди, уважаемая Кира Николаевна!

«О-па! А ведь я не представилась», – весело подумала Кира, наблюдая, как бурые пальцы Смолякова тасуют новенькую колоду, крутят ее, будто кубик Рубика, настраивают на работу, словно дорогой и капризный прибор.

Смоляков играл осторожно. Руки его в игре сделались обезьяньи. Он держал свои карты скрытно, расправляя их чуть-чуть, будто крылышко пойманного в горсть, еще живого насекомого, дул на них, вытянув длинные губы трубочкой, и время от времени скрюченной лапой проводил от макушки к лицу, облепляя лоб остатками сизых волос. Не слишком опытный противник принял бы все это за признаки блефа, но Кира чувствовала актерство. В блиндаже стояла глухая, земляная тишина, только в буржуйке рассыпчато шелестели розовые угли. Карта шла неуверенно, трудно, удача, казалось, витала близко под темным бревенчатым накатом, но никак не могла решить, на чью сторону спуститься. Слышалось только: «Ставлю десять». – «Поднимаю вдвое». – «Открываю». – «Пас». Плесневелые медяки, побрякивая, переходили то к одному, то к другому противнику. Кира до

боли в висках старалась сосредоточиться на игре, но ее отвлекали посторонние мысли. Как, скажите пожалуйста, проникнуть за жесткую оборону Смолякова, если он свой собственный забор воспринимает как принадлежность и границу внешнего мира, точно этот мир и есть огороженный пятачок, которому отшельник пишет на досках матерные послания по известному адресу? И что за странный вид у утвари в этом бутафорском жилище, будто и кривоватый чайник, и алюминиевая кружка с одним волнистым краем, и перекрученная чулком труба буржуйки вдруг попытались отрастить себе крыло или лопасть для полета по воздуху? Внезапно Кира сообразила, что отгадка проста: все эти предметы побывали внутри у смерча.

– Как там Ниночка? – вдруг спросил Смоляков, пощипывая карты.

– Умерла, – ответила Кира, не моргнув.

Ни одна морщина не дрогнула на темном лице Смолякова, ставшем вдруг непроницаемым, «покерным». Но игра внезапно пошла легче: Кира, заменяя себе застрявшую тройку бубен, ощутила в колоде как бы некий трепет, точно между карточными листьями заструился ветерок.

– Вы, Кира Николаевна, смотрите в свои карты, будто кокетка в зеркало, – добродушно заметил Смоляков. – По вашему лицу все видно.

«Ага, как бы не так», – подумала Кира, изображая досаду.

– Ставлю все, – Смоляков аккуратно спустил между пальцами два неодинаковых столбика медяков.

«Вот оно!» – мысленно возликовала Кира, закусывая губу.

– Каре, – Смоляков любовно выложил на стол четыре семерки.

– Стрит флеш, – Кира щегольски выпустила веером пять карт, возглавляемых классической пиковой дамой.

– Ах, мать вашу! – Смоляков с силой хлопнул себя по коленям и, откинув голову, расхохотался.

Диктофон у Киры лежал в рюкзаке, сброшенном у входа, под сырыми горбами висевшей прямо на гвоздях, кисло пахнувшей одежды. По счастью, диктофон был завернут в полиэтиленовую пленку, превратившуюся в сопли, но все же защитившую нежную машинку. Выставив диктофон на стол, рядом с кучкой выеденной до углей картофельной кожуры, Кира положила палец на кнопку записи.

– Ну что, будем делать интервью? – спросила она торжествующе.

Смоляков нехотя кивнул и с шорохом провел ладонью по лицу, отчего сделалось заметно, что за время игры на подбородке и щеках отставного актера вылезла похожая на корку соли седая щетина. Кира нажала на кнопку, и диктофон издал натужный маленький скрип.

– Итак, что вы будете делать, если смерч опять уничтожит ваш дом? – задала Кира давно приготовленный вопрос.

– Отстрою в третий раз. И в четвертый, и в пятый, и сколько понадобится, – глуховато прого-

ворил Смоляков, наклоняясь ближе к разболтанно тарахтящей машинке.

– Понадобится для чего? – тут же подхватила Кира интересную тему.

– Я вам проиграл правду, – недобро усмехнулся Смоляков. – Вот вы и получите правду независимо от того, как смогут ее воспринять тупые читатели вашего журнала. Когда дом поломало в первый раз, вероятность его разрушения резко уменьшилась. После второго раза разрушение стало совсем невероятным. После третьего – будет почти невозможным. После четвертого... В общем, настанет некий энный раз, после которого я в своем доме стану неуязвим.

– Бессмертен, может быть? – иронически спросила Кира, чувствуя, однако, как от волнения, от близости чего-то таинственного сердце пропустило удар и зависло в пустоте.

– Бессмертен, – серьезно подтвердил Смоляков, и его замерзшие твердые глаза вдруг вспыхнули синим, будто горящий спирт. – Именно здесь, на этом самом месте, завязался и растет пузырек бессмертия. Раньше я по наивности думал, будто останусь жить в своих спектаклях и фильмах. Но такие настали времена, что всякий творец переживает свои творения, и нынешняя коммерческая эксгумация меня нимало не обманывает. В общем, я не дурак, чтобы покидать отмеченную точку. И мое упорство пережить энный смерч, после которого, собственно, никакой забор не будет нужен, не имеет отношения к национальной идее. Хотя природа России такова, что ей, кажется, суждено претерпеть все мыслимые

катаклизмы, после чего она вся целиком станет недосыгаема и неуязвима. Но до этого еще далеко, а моя капсула бессмертия одноместная. Мне здесь никого не надо: ни политиков, ни журналистов.

– А почему тогда вы не живете в доме? – спросила Кира, только сейчас по-настоящему ощутив, как духота подземелья давит на виски и морит в сон, отчего бревенчатая стенка ходит волнами, будто развязавшийся плот.

– Я предусмотрительный, – низкий голос Смолякова отдавался так, будто он говорил в пустой горшок, роль которого выполняла Кирина голова. – Думаете, торнадо можно заметить издали? Это если специально наблюдать, а нет – не успеешь выглянуть в окно, как он уже снимает с дома крышу. Издалека его даже не слышать, он только шипит, будто на пластинке старая игла. Я читал, что турбулентные вихри генерируют звук высокой частоты... Эй! – Кира вздрогнула всем телом, обнаружив, что Смоляков стоит над ней и трясет ее за плечо. – Между прочим, у вас диктофон не работает.

Действительно, машинка на столе застряла и надулась. Кира протянула к диктофону отяжелевшую руку: от касания диктофон подпрыгнул, щелкнув всеми кнопками, и выбросил вбок кассету с петелькой зажеванной пленки.

– Давайте продолжим завтра, – миролюбиво предложил Смоляков. – Я не отлыниваю, карточный долг свят. Ложитесь в кровать, там постельно чистое белье. Но прежде чем вы заснете, я отвечу вам на вопрос, не имеющий отношения к ин-

тервью. — Тут он наклонился ближе, так, что Кира почувствовала крепкий, морской и соленый запах здорового мужского тела. — Запомните, Кира Николаевна: вы — не моя дочь.

— А докажите! Давайте переспим, — развязно предложила Кира, поднимаясь на нетвердые ноги.

— Кира Николаевна, голубушка, — Смоляков отстранился от ее спадающих, как плети, сонных объятий. — Увольте старика.

Кира проснулась далеко за полдень в слезах. Спалось ей плохо, чудовищная старая перина, будто мягкая коровья туша, ворочалась под ней, хрустела, сбивалась горбом. Что же приснилось опять? Так бывало часто, и Кира никогда не помнила, отчего у нее наутро сырые кляксы на подушке. Смоляков, наверное, слышал, как она ночью скулила. Ну и черт с ним, со старым пердуном. Голова от подземной духоты болела страшенно, казалось, даже волосы встают дыбом от этой распирающей боли. И еще какая-то странная тревога. Будто далеко, за пределами слышимости, работает тяжелая строительная техника. Будто колкой кисточкой проводят по губам.

«Никаких истерик! Подъем!» — скомандовала Кира и выбросила себя из нагретой ямы. Пол под ногами качнулся, вступил во взаимодействие с тяжелым шариком в голове, уравновесился им и встал твердо. Одежда на спинке кровати еще не просохла и напоминала на ощупь мокрый сахар. Кира опять натянула хозяйские джинсы, взяла с гвоздя какую-то грузную куртку, пахнущую

псиной. Ни Смолякова, ни его собачонки не было в блиндаже. Следовало поснимать усадьбу, пока несостоявшийся папенька не выпер восвоиси чужую журналистку. Фотокамера лежала на самом дне рюкзака, полиэтилен, в который она была упакована, тоже набрал воды и теперь превратился в корку желтого ссохшегося клея. Однако камера включилась, просигналив нежным звуком, и показала на мониторе ведущие на волю дощатые ступени.

Наверху пронизывал ветерок, и небо было беспокойно: холодное солнце наплывало и сменялось тенью, как при ускоренной съемке, – казалось, будто за минуту пробегает полдня. Приходилось внимательно глядеть себе под ноги, чтоб не оступиться: всюду зияли странные рваные ямы, пожелтелые космы травы с комьями корней напоминали снятые скальпы. Тут и там виднелись растрепанные птичьи гнезда с кладками яиц; не сразу Кира сообразила, что это огромный град, выпавший, пока она спала.

И вдруг подспудная тревожная вибрация сменилась резким, сверлящим уши свистом. Жидкую березовую рощу, видную поверх забора, хлестнуло раз и два, словно окатило с размаха тяжелой водой. Кира поспешно обернулась и больно села на землю. Смерч, косою крученый столб, извивался, точно его отжимали в воздухе на манер пододеяльника, и двигался прямо на Киру, на смоляковскую усадьбу. Грозовая клякса, из которой спускался чудовищный жгут, не казалась особенно страшной, она была даже солнечной с длинного размазанного бока, но Кира в жизни не

видела ничего черней, чем ясная синева в разрывах этой тучи, окаймленная сверкающей, словно наточенной, облачной сталью. В воздухе неслись вальсируя гнилые доски, рваное, как промокашка, кровельное железо, какие-то темные хлопья; мелькнуло и лопнуло алое пятнышко, в котором Кира узнала собственный зонт.

Она поспешно вскочила на четвереньки, нашаривая среди комьев и будыльев запропастившуюся камеру. Тут она увидела, что за мокрой пихтой, сверкающей в косом луче, точно ее опутали тряской новогодней мишурой, больше никто не стоит. С той стороны неуклюжими скачками с лицом, как полусорванный с ранки кусочек пластыря, на Киру несли Смоляков.

– Скорей! Вниз! – заорал он, налетая и жестко хватая Киру за локоть.

– Нет! Я буду снимать! – Кира, наконец, нащупала в жухлой крапиве ремешок и выдернула камеру с залепленным грязью объективом.

– Кому говорю! – яростно прохрипел Смоляков, волоча упиравшуюся Киру, точно козу на веревке.

– Пустите! Не ваше дело! – Кира в гневе выдернула руку.

– Мое! Очень даже мое! – Смоляков с круглой, как печать, ссадиной во лбу орал Кире в ухо. – Ну, соврал я тебе вчера! Думаешь, легко признаваться? После половины жизни! Бросай эту камеру к едрене-матрене! Мы богаты! Поняла? С сегодняшнего дня!

– Ты сделал ставку в Интернете?! – восхитилась Кира, но слова ее тут же унесло грохочущим ветром.

– Нет! Я сделал ставку в Интернете! – крикнул в ответ Смоляков, густым актерским тембром перекрывая ураган.

Жидкая грязь дрожала и текла у них под ногами. Призрачная мгла аккуратно, будто гребенку из волос, вынула из земли половину забора, и тут же произошло торжественное вознесение «крайслера», поплывшего, покачивая багажником, по смутному мусорному воздуху. Константин Вожеватов, приплясывая с задранной на голову хвостом пиджака, ловил в объектив раздувшееся и потемневшее тело смерча.

– Сюда! Дурень! Сюда беги! – кричал ему Смоляков, размахивая рукой.

– Я богат!.. Я богат!.. – донеслось сквозь прерывистый вой.

В эту самую минуту «крайслер» нежно, взасос поцеловался с углом смоляковского дома и, рассыпая битое стекло, грохнулся без сил. И тут же смерч навалился, налег на домище, сел на него, как медведь, завертелась в столбе жеваная щепка. Кира и Смоляков, схватившись за руки, захлебываясь тусклым ураганом, бросились в убежище.

Секретарша Галя смотрела на Ситникова с обожанием, еще вчера запрятым, потупленным, а сегодня сияющим открыто в ее широко расставленных круглых глазах, словно что-то быстро-быстро читающих у Ситникова на лице. Ситникову было даже неудобно есть булку, хотя с утра не было маковой росинки во рту, сперва в офис, куча дел, потом на вокзал, и вот: притемненное купе спального вагона, занавесочки, рюшечки, поющая ложечка где-то на полу, Галя в постели напротив, натянувшая простыню на млечное плечо.

Шеф сделал Ситникову царский подарок, прикомандировав к нему главное свое сокровище: идеального секретаря. Галочка, Галина Валентиновна Панова, пришла в «АРТ-Строй» с третьего курса МАрхИ, но не стала ни дизайнером, ни архитектором, заняла ровно свое место в приемной и за восемь лет работы взяла в свои маленькие крепкие руки, всегда украшенные цветными, как конфетки, сверкающими перстеньками, столько

дел, что страшно подумать. У Гали, институтской и школьной отличницы, была стопроцентная память, причем не механическая, а оперативная. В ее ладно и крепко посаженной головке, защищенной от ударов судьбы подушкой кудрей, содержались трехмерные динамические модели, включавшие всех сотрудников фирмы, всех заказчиков с их звонками и факсами, всех чиновников, имевших касательство к возводимым или когда-либо возведенным объектам. Казалось, Галочка просто неспособна что-то забыть или перепутать. Шеф, властный мужик с солью и перцем в лохматой седине, давно превратился в ее тамагочи: Галя его кормила, лечила, составляла его расписание, так им крутила в течение дня, что шеф успевал гораздо больше, чем мог предположить. При этом Галя не сидела, как пришитая, с утра до ночи над шеренгой телефонов: переводила звонки на мобильный и преспокойно уезжала по служебным и личным делам на своем ярко-красном крошечном «смарте», похожем не на настоящий автомобиль, а на забавный персонаж мультфильма. Она всегда появлялась в офисе ровно за десять минут до того, как возникала ситуация, требующая ее присутствия; она варила божественный кофе, крепкий и терпкий, с плотным, шелковым шариком пены; она никогда не срывалась, даже если у всех вокруг нервы ходили ходуном, никогда не теряла целеустремленности; Галочкина улыбка, от которой ее ясноглазое личико сверкало, как брошка, была талисманом фирмы.

Шеф согласился осиротеть на четыре дня только потому, что дела на объекте окончатель-

но запутались. «АРТ-Строй» более-менее честно выиграл конкурс на строительство в N-ске торгово-развлекательного комплекса. Однако местные фирмы не смирились с тем, что на их территорию пролезли московские, и при помощи чиновников из комитета по строительству утопили проект в круговых согласованиях. Ситников был готов квалифицированно ответить на все технические вопросы. Но вот организовать ему такую возможность, собрать чиновников, норовивших разбежаться, пройти насквозь приготовленные для москвичей тупики – это могла только умница Галочка, казалось, управлявшая при помощи смоделированных в своей голове человечков реальными людьми.

Разумеется, шеф не мог предположить, что серьезная командировка буквально с вокзала превратится в незапланированное любовное приключение.

Леша Ситников тоже был по-своему человеком особенным. Длинный, сутулый, шаркающий на ходу, передвигавшийся с грацией больного жирафа, Ситников вовсе не был красавцем голливудского образца. Но сумрак в близоруких серых глазах, падающая на глаза драматическая лопать черных волос, длинные кисти рук, как бы немного чужие владельцу, словно затянутые в тонкие перчатки, – все это неодолимо притягивало представительниц прекрасного пола. Ситников совершенно не постигал природу той энергии, что возникала в человеке, когда человек влюблялся. Возможно, способность вызывать

любовь была обратно пропорциональна способности ее испытывать, и Ситников, вот честно, никогда не чувствовал той одержимости, объектом которой регулярно становился.

Леша предпочитал и весьма ценил отношения ровные, обоюдно приятные. Он даже не исключал, что когда-нибудь женится на симпатичной и умной подружке, с которой ему будет максимально комфортно. Но влюбленные – увольте! Ситников буквально кожей ощущал, когда в приятельнице, еще вчера нормальной и разумной, вспыхивает этот жестокий свет: от облучения любовью кожа у Ситникова сохла и натягивалась на мослы, а в особенно тяжелых случаях покрывалась жесткой, как терка, розовой сыпью. Женщина, в которой начинался этот радиоактивный процесс, сразу становилась чужой для Ситникова, он понимал ее не больше, чем марсианку. Он чувствовал только, что влюбленный получает энергетическое преимущество перед своим объектом. Любовь заключала объект в неотступный прожекторный луч, и Ситников, в очередной раз нарвавшийся, оказывался точно на сцене, где, чтобы не провалиться, требовалось исполнить номер. Ситников исполнял: дарил дорогие букеты в пышных жабо из серебряной бумаги, был успешен в сексе, приглашал в ресторан. Но этого было мало, мало, мало! Женщине непременно требовалось, чтобы и в Ситникове работал такой же, как у нее, ядерный реактор. А Ситников понятия не имел, откуда берется топливо. И, в общем-то, не желал себе такого несчастья. Это только в глянцах пишут, будто женщина хороше-

ет от любви. На самом деле – Ситников мог подписаться под этим как свидетель – у влюбленной женщины лицо становится ярким и одутловатым, а в потускневших волосах появляются неприятные, словно бы криво вклеенные пряди, неживые на ощупь.

Вот, к примеру, Лиза. В отличие от простенькой Галочки была великолепная особь, коллекционный экземпляр. Грубоватый блондинистый северный тип, шершавый румянец на скулах, очень светлые глаза, будто капли морской балтийской воды, в волосах лед. Но невероятно была эффектна в коротком алом платье и длинном черном пальто, в темных очках от Chanel. Ситников даже немного волновался, когда входил об руку с Лизой в какое-нибудь пафосное место. Во всем его костистом составе сохранилась память о Лизиной походке: будто качает и бьет боковая волна, и забредаешь все глубже, не видя, куда ступаешь опасливой ногой, а вода тем временем, вбирая тело по сантиметру, доходит холодной линией до самого сердца.

Словом, Лиза была шикарная, самодостаточная женщина, а превратилась в сущий Чернобыль. Вдобавок у Лизы имелся муж, некто Фролов. Ситникову он напоминал какую-то морскую птицу, попавшую в нефтяное пятно. Кривобокий, клювастый, странно коротконогий, Фролов передвигался при помощи трости, на которую взваливался всем телом, а потом как будто спрыгивал. Волосы его, в сорок с лишним лет нимало не пробитые сединой, были местами словно испачканы в той самой краске, что природа пустила на

странный бурый колер этой шевелюры. Фролов был, разумеется, богат – занимал довольно высокую менеджерскую позицию при нефтяной трубе. При общей своей неприхотливости (молодость его прошла на буровых в Тюмени) он питал большую слабость к брендовой обуви; одна его бежевая пара, долгоносая и вкрадчивая, шевелившая при каждом шаге, будто усиками, волшебными шнурками, частенько захаживала с некоторых пор в Лешины кошмары. Фролов был очень умен; его маленькие черные глазки, будто черная икра питательными веществами, были насыщены умом. И тем не менее в этом Фролове работал любовный реактор, направленный на Лизу, а Лиза свою энергию направила на Ситникова: вышел сдвоенный удар, от которого с Ситниковым случилась беда.

Но лучше об этом не вспоминать. Тем более, что Галочка требовала для себя, по крайней мере, на эту поездку, всего Ситникова. Леша так и понял, когда идеальная секретарша, сидя в купе напротив него в окружении своих баулов, вдруг некрасиво скривилась, словно собралась заплакать, и провела мягким розовым пальцем по небритой Лешиной щеке.

Леша не без удовольствия исполнил то, что полагается исполнять в подобных случаях. Галя, конечно, слишком суетилась, и вышла возня с ее кружавчатым, хитро и мелко застегнутым корсетом. Поезд, набирая скорость, задавал бешеный ритм, и Леша трудился, будто кочегар, кидающий уголь в раскаленную паровозную топку.

Галя впивалась Ситникову в спину тупыми круглыми ноготками и пела нежное: «А-а! А-а!» – будто качала люльку с младенцем. Несколько раз в купе стучала проводница, служебным голосом взывая: «Молодые люди, вы будете на горячее свинину или рыбу?» – но, в какой-то момент уловив через дверь специфический звук, унеслась, точно ее сдуло скоростью. В результате Ситников остался без свинины и без рыбы. Поскольку он выложился до дна, разгоняя поезд, ему казалось, что за время, пока он занимался влюбленной секретаршей, состав должен был пролететь половину пути до Н-ска. На самом деле за окном еще тянулось застроенное краснокирпичными доминами ближнее Подмосковье, впереди был пустой вечер, и сильно сосало в желудке.

– Леша... – позвала Галя разнеженно, и Ситников едва не подавился непрожеванной сдобой. – Нет, ты ешь, ешь. Не обращай на меня внимания. Я просто буду смотреть на тебя, ладно?

– Угм, – отозвался Ситников, подливая себе в дребезжащую чашку остывшего чая, может быть, в горячем виде и приемлемого, но сейчас напоминавшего воду из осенней лужи с размякшими в ней коричневыми листьями.

– Мне просто надо видеть тебя каждый день, хотя бы по часу, – продолжала Галя, приподнимаясь выше на тугой подушке. – Это как наркотик. Я наркоманка. Хочешь, скажу? Пятого числа ты был в таком хлопковом свитере цвета морской волны, у него еще нитка висит из левого рукава. Или вот, восьмое. Ты оделся слишком легко –

в бежевые брюки и рубашку с коротким рукавом, а зарядил холодный дождь, и брюки у тебя были забрызганы сзади до самых подколенок.

– Ты так точно все помнишь, прямо по числам? – удивился Ситников, хотя от Галочки можно было ожидать еще и не такого фокуса. – И за какое примерно время?

Галя на белой подушке зарделась так, что Ситникову померещилось: он снова видит расплывающееся по белому красное пятно, кровь заполняет нитки полотна, точно принимает их за сосуды, и пятно выглядит, будто красная штопка.

– Начиная с двенадцатого февраля этого года, – смущенно проговорила Галя, возвращая Ситникова к действительности. – Я в тот день в тебя влюбилась. В пол-одиннадцатого утра.

«Помнит, будто время отправки факса», – раздраженно подумал Ситников, изображая повышенное внимание всеми мимическими мышцами лица, точно сведенными в щепоть.

– Я спускалась по лестнице на второй этаж, в бухгалтерию, – мечтательно продолжала Галя. – Ты поднимался мне навстречу и так ладонью поглаживал перила, будто кошку. У тебя на голове была большая мрачная шляпа, на шляпе таял снег. Я в тот момент толком не поняла, что со мной случилось. Меня, будто кусочек сахара, опустили в горячее самым уголком. А потом это горячее стало подниматься, заполнять меня, понимаешь? Все, связанное с тобой, вдруг стало иметь значение. Я только дома, ночью, поняла, что произошло. А на другой день, тринадцатого, ты был сильно простужен, так кашлял, что очки

на носу прыгали. Я тебе давала парацетамол, помнишь?

– Нет, – честно ответил Ситников. – Хотя сейчас, когда ты сказала, точно, вспомнил! Я тогда чихнул на шефа, до сих пор неловко!

Галя и Ситников рассмеялись, и от этого совместного смеха Ситникову стало хорошо, уютно. Влюбленная секретарша, пышная под натянутой до подбородка простыней, вся покрытая сладкими родинками и оттого похожая на творожок с изюмом, показалась Леше если не красавицей, то, по крайней мере, очень симпатичной.

– Здорово получается. У тебя, стало быть, два проекта в голове, один называется «Арт-Строй», а второй – «Ситников», и неизвестно, который больше, – заметил Леша, чувствуя себя польщенным. – Но ведь я не каждый день бываю в офисе, часто мотаюсь по объектам или вообще прогуливаю, честно говоря. Эти дни у тебя выпадают, так?

– Нет, не выпадают, – Галочка посмотрела на Ситникова из-под дымчатой кудряшки виновато и лукаво. – Просто я слежу за тобой в такие дни. Иногда и в другие. Мне бывает мало видеть тебя в офисе, понимаешь? Сажусь в машину, разыскиваю тебя в городе и наблюдаю тихонько...

Так вот откуда красное, что маячит и мутит боковое зрение, подумал Ситников, замирая и дыша в чашку. Это вовсе не капелька крови, что брызнула тогда на очки, размазалась пальцами и целый день выдавала Ситникова с головой. Это, оказывается, Галочкин мультяшный «смарт». Лучше ли это? Нет, гораздо хуже. Вот попал, так попал.

– Леша? Леша, ты чего? – забеспокоилась Галочка, приподнимаясь на локте. – Ну, не сердись! Я ведь не какая-нибудь ревнивая дура. Я и прав никаких на тебя не имею. И вовсе не для того, чтобы на девушек твоих посмотреть... Леша! – Галочка уже едва не плакала. – Это просто будто мне показывают фильм. С тобой в главной роли. Так красиво. Все делается таким необыкновенным. Даже Москва будто совсем другая, не та, в которой мы живем. Я в машине включала музыку и сидела, как в кинотеатре...

– А что за музыка была? – сдавленно спросил Ситников.

Галочка улыбнулась дрожащей улыбкой, запрокидывая голову, словно пытаясь закатить непролившиеся круглые слезы обратно в глаза.

– Моцарт...

За окном солнце садилось за сизые зубчики дальнего леса, будто рыжий желток выливался из скорлупы на сковородку. Прوماхнула против солнца полуразрушенная, точно израненная, громадная трамина, солнечный луч, пропущенный через ее пустую колокольню, мазнул, будто прожектором, Ситникова по лицу.

– Гал, я сбегая, выкурю сигаретку, ты отдыхай пока, – Ситников похлопал секретаршу по белой тяжелой кисти, перетянутой крошечными часиками на золотой браслетке. – А вернусь, и вместе посмотрим твое кино. Мне тоже интересно, никогда вот так не видел себя со стороны.

В курящем тамбуре сильно грохотало, едко тлела и брякала крышкой железная пепельница.

Какой-то обритый качок с ушами, как мясные пельмени, и маслянистой татуировкой на толстом плече меланхолично тянул сквозь зубы рыхлую папиросу, мешал думать. Наконец он убрался, затерев свое курево на полу. Вот так же прогоркло, едко пахло в милицейском отделении, куда гражданина Ситникова Георгия Петровича таскали в связи с убийством гражданки Фроловой Елизаветы Алексеевны. Следователь был цепок, как шершень, и прилипчив, как пластырь. Разными словами и на разные голоса он задавал одни и те же вопросы, все-все записывал большими горбатыми буквами в протокол. В жизни Ситникову не забыть этого угрюмого почерка, этой узкой, бледной милицейской морды, сводившейся главным образом к носу, похожему на ступню танцующей балерины и такому громадному, что наверняка мешал владельцу смотреть. Однако же следователь, казалось, видел Ситникова насквозь. Левая рука у него была четырехпалая, как вилка.

Леше тогда необычайно, сказочно повезло. Алиби ему обеспечил партнер, строительный подрядчик из этого самого N-ска, с которым у Ситникова была назначена встреча в пивном ресторане. Мужик только начинал богатеть и все любовался на свой массивный, будто золотая черепашка, навороченный Rolex, на котором, благоговей перед сложным швейцарским механизмом, побоялся переставить время с N-ского на московское. Так возник никем не учтенный призрачный час, в который Ситников скользнул, будто в укромное убежище: мужик, сразу из ресторана

ехавший во Внуково, после совершенно забыл о том, что не переводил часы, и чистосердечно показал, что в понедельник, 19 мая, пил пиво и ел рульку с кислой капустой в обществе гражданина Ситникова Г.П., начиная с трех часов тридцати минут пополудни. А в это время по Москве еще ничего не стряслось, и ровно в половине четвертого к Лизе, разгоряченной скандалом, растрепанной, как пакля, но еще живой, заходила соседка, активная старушенция, похожая на миленький комодик в шелковом чехле с рюшками. Что-то они говорили в холле про порядок в подъезде, и самое главное – старушенция получила под своей петицией подлинную, с датой и временем с точностью до минуты, Лизину подпись.

И все равно Ситников висел на волоске. Главным фигурантом следствия был, конечно, Фролов, ревнивый муж, сам же и вызвавший милицию, встретивший ментов из убойного в абсолютно невменяемом виде: с пятнами крови, цветущими, будто алые маки, на белом махровом халате, с отвисшей челюстью, ходившей ходуном, словно чашка весов с грузом. Овальная итальянская раковина, над которой Фролов, прежде чем открыть милиции, вымыл руки, вся была в розовых и бурых потеках, мыло напоминало кусок недоваренного мяса. Адвокат Фролова, известная в Москве госпожа Крутикова, стоившая целое состояние и похожая на Железного Дровосека в костюме от Boss, добилась для своего подзащитного подписки о невыезде и не поленилась смотаться в Н-ск, чтобы попробовать на зуб алиби второго подозреваемого. Однако строительный подрядчик, раздра-

женный напором столичной бабы и к тому же во время встречи с Ситниковым регулярно смотревший на стрелки, свои показания подтвердил.

Теперь же тонкий, волшебный покров спасительной случайности был готов порваться под грубым давлением фактов, хранившихся в памяти идеальной секретарши и идеальной свидетельницы. Возвращаясь в купе, Леша мучительно пытался воспроизвести перед мысленным взором тот момент, когда он, в скособоченных ботинках, с носками и трусами в кармане пиджака, вывалился из Лизиного подъезда в солнечный двор. Слово белое дрожащее облако застило память – это, кажется, была отцветающая яблоня, с которой ветер срывал папиросные лепестки. И были, конечно, припаркованные машины – черные, солидные, боком взваленные на пешеходную дорожку, а красное, тоже всплывавшее в этой картине, относилось, кажется, к детской площадке. И как это Галя умудряется все запоминать? Ситников был перед ней, будто слепой перед зрячей. Он на самом деле даже не был уверен, правда ли Фролов ударил Лизу острой шпилькой лаковой туфли, фигурировавшей на следствии и похожей в качестве вещдока на упившегося кровью комара. Фролов брал в руки туфлю – это точно, а дальше? «Не отвлекайся, соберись, нас интересует девятнадцатое мая, – сам себе скомандовал Ситников. – И ни в коем случае не показывай особенно-го интереса к этому числу!»

Галочка сидела в купе свежая, умытая, переодетая в аккуратный стеганый халатик, и запле-

тала кудри в тугую войлочную косу. На столе, накрытая тарелкой, Ситникова ожидала подогретая семга с разомлевшей картошкой, в горячем тяжеленьком чайнике заваривался чай, на этот раз замечательно вкусный. Когда только Галочка успела? Ситников, мыча от жадности, набросился на пищу. Галочка смотрела на него с тихим восхищением, покусывая жесткий кончик косы, похожий на жареный рыбий хвост. «Тоже, небось, идет у нее под Моцарта», – с неприязнью подумал Ситников, и сразу ему сделалось невкусно, будто на остатки семги брызнули приторными дамскими духами.

– Ну что ж, давай посмотреть твое кино, – предложил он бодрым голосом, вытирая липкие пальцы рвущейся салфеткой. – Загадываю число: первое июня.

– Та-ак, это был выходной, – между Галочкиных сдвинутых бровей выдавилась как бы маленькая буква. – Но я тебя видела. Ты ездил в «Седьмой континент». Я ходила за тобой по залу с тележкой. Ты набирал кукурузные хлопья, мюсли, много всякой всячины в коробках. И будто не верил, что коробки не пустые. Погремишь, послушаешь и только потом берешь!

– Точно! – восхитился Ситников, на секунду словно оказавшийся в том торговом зале, ощутивший в руках легкую полуую картонку с гремучим содержимым. И вдруг безо всякой связи с разговором у него перед глазами возникла картина: Лиза в тех самых роковых лаковых туфлях поднимается по лестнице, ставя на ступени только яркие, острые носки, а шпильки свисают и ло-

вят кольца электрического света: левая, правая, левая, правая...

– Двадцать пятое марта, – произнес он глухо.

– В тот день шеф отправил тебя к инвесторам, что хотели строить таунхаусы в Дмитрове, но так и не собрались, – охотно откликнулась Галя. – Тебя подрезала синяя «мазда», а потом ты проплыл поворот и крутился лишних полчаса. Знаешь, как ты едешь? Будто тебя ребенок тащит, как игрушку, за собой на веревочке, тащит и не оглядывается, как ты там, не завалился ли набок... Ты совсем не умеешь водить, не обижайся, я так всегда за тебя волнуюсь...

Это действительно было совершенно особенное, странное кино. Сумрачный герой, городской романтик, не совсем умеющий водить автомобиль, не совсем приспособленный к урбанистической среде, но что-то прозревающий в ритме столичных огней и темнот, всегда танцующий под ему одному слышимую музыку... Примерно таким Ситников видел себя, когда был долговязым, как бы многоэтажным подростком и носил исключительно черное, никогда не снимал кругленьких темных очков, в которых часто воображал себя слепым. Примерно таким он получался и в Галочкином фильме. Прелесть воображаемого образа заключалась в том, что ни одно событие, происходившее с городским романтиком, не было настоящим. В пространстве этого кино, если случалось убийство, оно совершенно не касалось тупой оловянной милиции, но влияло на саундтрек и характер ветра и дождя. Здесь, в этом образе, было безопасно: следовательно не мог аре-

ствовать героя, потому что он в своих милицейских тяжелых ботинках не умел двигаться под Моцарта – беспомощно хватал нелепыми, как оловянные вилки, длинными руками танцующую тень, хватал и промахивался.

– А шестого мая ты с такой высокой блондинкой ужинал в ресторане «Прага», – продолжала Галочка. – На тебе был твидовый пиджак с коричневыми пуговицами, похожими на шоколадные конфеты, и галстук в полоску...

Да, именно в «Праге» была та белая, резко освещенная мраморная лестница, по которой Лиза поднималась, посверкивая шпильками, висевшими над бездной. Должно быть, потому, что в Галочкиной голове работала великолепная, на огромные гигабайты жизни, машина памяти – средненький запоминательный механизм в мозгу у Ситникова каким-то неведомым образом тоже взялся за дело. Как на очень грязных джинсах после стирки обнаруживаются пятна, прежде незаметные, так и в Лешиной памяти вдруг явственно проступили туманные сгустки. Там, в этом волокнистом и сыром тумане, скрывалось нечто важное, забытое, как забывается в первые секунды пробуждения многозначительный сон. Только все это, безусловно, было наяву, девятнадцатого мая, в совершенно реальной, хорошо знакомой Ситникову, Лизиной квартире. Разве так бывает? Разве такое возможно? Все, случившееся там, сохранилось будто отзвук страшного сна или воспоминания раннего детства, мягко перестеленные волокнистой темнотой. После того, как Ситников вывалился из гулкого, собиравше-

го где-то наверху звук его шагов Лизиного подъезда, что-то пошло не так с его головой. Ситников стал забывать ключи от машины, рабочую документацию, куртку на спинке стула в ресторане. Должно быть, этому всему есть научное объяснение: шок от того, что женщину, близкую тебе, убили прямо у тебя на глазах. Но вот сегодня Галочка сделала Ситникову мягкий массаж памяти, и что-то дрогнуло в самой глубине тяжелого тумана, расплелись и стали таять вязкие волокна. Фролов взял в руки туфлю.

...Он поднял туфлю с ковра и посмотрел в нее очень внимательно, словно изучая золотой, потертый Лизиной пяткой, дизайнерский логотип. Ситников в это время, точно классический любовник из анекдота, сидел в огромном платяном шкафу, и тихие, слегка наэлектризованные шелка льнули к нему, будто ласковые призраки. Раздвижная дверца шкафа стояла криво на своем направляющем рельсе, щель плюс овальное зеркало в лаковой раме давали затаившемуся Ситникову обзор комнаты. Он видел, как близко, очень близко прохромали по глухому ковру бежевые ботинки, шевелившиеся так, будто их владелец поджимал внутри кривые пальцы, щупал сквозь подошву путь, пытался рвать ковровый ворс, точно густую траву. Почему-то Ситников очень боялся, что не вовремя явившийся муж сделает лишний шаг и увидит то, что прячется на полу между кроватью и окном, там, где предательски натянулся под человеческой тяжестью стеклянистый узорчатый тюль.

Странно, ведь Ситников притаился не за кроватью, а в шкафу, среди шелков. Тем не менее он

ощущал под ложечкой какой-то жесткий железный трепет, и его ладони, державшие ком собственной одежды, совершенно взмокли. По счастью, Фролов не сделал рокового шага – поднял туфлю и глубокомысленно в нее уставился. Потом он вернулся, встал напротив шкафа и принялся рассматривать Ситникова – то есть, конечно, не Ситникова, а свое отражение в зеркальной створе, слегка как будто дребезжавшей. Но Ситникову, переставшему дышать, явственно чудилось, будто зеркало сделалось прозрачным, и будто они с Фроловым через посредство этого зеркала приобрели разительное сходство, стали, можно сказать, одним человеком.

Затем бежевые ботинки тяжело и тихо удалились – левый, правый, левый, правый. Через небольшое время послышался шорох душа. Ситников, весь обсыпанный, точно сахаром, липкими мурашками, выскользнул из шелковых прозрачных объятий, поскакал легкой раскорякой, почти невидимой кикиморой, на ходу натягивая брюки. Фролов, плещась под душем, ревел, как тюлень. В холле на фигурном столике лежало надкушенное Лизой лаковое яблоко, белая мякоть на месте укуса уже начала покрываться бархатцем, ржаветь; на очках у Ситникова, на левой линзе, маячило густо-красное пятнышко, и он растер его скрипнувшими пальцами.

В общем, надо решаться.

– Гал, а как насчет девятнадцатого мая?

– Ой, очень хорошо помню, – Галочка прерывисто вздохнула и посмотрела на Ситникова ви-

новато, как школьница. — Тебя в тот день сильно побили. Ты поехал на Мясницкую, там живет эта длинная Барби. Я постояла во дворе и думала уезжать, у нас к пяти должны были привезти ксерокс из ремонта. Но тут ты выскочил, и я подумала, что должна тебя перехватить, отвезти в больницу. Не знаю, почему этого не сделала. У тебя, по-моему, левый глаз был подбит, одежда вся растерзана, и ты так странно, вопросительно улыбался. Наверное, я постеснялась тогда, не мое дело, но ведь я и раньше видела, как эта женщина швыряется букетами, развешивает пощечины запросто, будто комаров бьет. Ты с ней больше не встречаешься, и правильно. Нельзя же так обращаться с человеком!

Ситников вздрогнул. «Так нельзя обращаться с человеком!» — оглушительно крикнуло пространство голосом Лизы, и тут он все вспомнил.

Туфли было две, в этом все дело. Левая и правая, левая и правая. Девятнадцатого мая Лиза устроила ему ловушку. Пригласила Ситникова к себе, муж якобы был в командировке. На самом деле она придумала, чтобы Фролов, только собиравшийся улетать и захавший после обеда за вещами, застал их тепленькими в развороченной супружеской постели. Чтобы он, ревновавший до горлового рыка, до спазма сосудов, вышвырнул Лизу из дому — сбросил ее, раздетую и разутую, на руки Ситникову. Мужчине такая комбинация просто не пришла бы в голову, но Лиза была абсолютная женщина, со всей дури фемина, к тому же у нее от любовного перегрева поплавились извилины и мозг, должно быть, прилип изнутри к

черепу, будто комок жевательной резинки. Тем не менее у нее бы все получилось, если бы она, заранее заряженная на скандал, сама смертельно трусившая перед своим Фроловым, не устроила Ситникову истерику задолго до прихода ревнивого изверга.

Ужасно, это было ужасно, никогда еще Ситников не видел Лизу такой агрессивной. Она выкрикивала упреки, лупила голого Ситникова твердыми, почти мужскими кулаками, крупный рот ее, накачанный силиконом, был похож на жгучую медузу, на комок смертельного яда, расплывшийся по краям воспаленным розовым цветом. Слово за словом она выпалила Ситникову все про свой дурацкий план, причем выходило так, будто Ситников сам этого хотел. Охваченный паникой, Ситников попытался прорваться к своей одежде, но Лиза, хохоча во все надутое горло, бросалась ему на шею, висла на нем, металась, растопырив руки, точно ловила курицу, и ее тоже весьма силиконовые груди болтались, как две боксерские перчатки. Тут в дверь позвонила старушка-общественница; Лиза, набросив халатик, блистая страшными глазами сквозь растрепанную белую паклю, побежала открывать, думая, вероятно, что это Фролов, забывший ключи. Из холла слышались голоса, приторный старушкин и резкий — Лизы, и было как-то сквозисто, тянуло свободой, должно быть, из-за открытой двери на лестничную клетку. Ситников, ползая по ковру, криво нацепив попавшиеся под руку очки, схватил рубашку, брюки, вытащил из-под завалившегося стула помятый, рассыпавший мелочь, пиджак.

И тут Лиза вернулась.

Прямо от порога она запустила в Ситникова острой сверкающей туфлей – орудие нешуточное, как-никак сорок первый размер обуви. Туфля воткнулась в ковер, как лопата в грядку. Та самая, которую после поднял Фролов.

– Нет, ты от меня не сбежишь! – закричала Лиза хрипло и, чтобы достать Ситникова сверху, вскочила с ногами на крякнувшую кровать.

Можно ли то, что случилось потом, назвать самозащитой? Нет, Ситников хотел, чтобы Лиза подавилась всем этим: своим ревнивым Фроловым, этой кисейной спальней в просторных, как еще одни апартаменты, холодных зеркалах, а главное – своей любовью, любовью, любовью, измотавшей Ситникова. Они нелепо боролись, Ситников держал оскаленную Лизу за твердые запястья, он взмок, будто пахал землю плугом. «Мне больно, козел!» – шипела она, норовя укусить за лицо. В руке у нее была зажата туфля номер два, и в какой-то момент они вздымали эту туфлю, как рабочий и колхозница вздымают знамя.

– Пусти, урод! Так нельзя обращаться с человеком! – вдруг жалобно крикнула Лиза, резко побледневшая в секундном предчувствии, так что поры на лице проступили песком.

Но Ситников дрожащей от напряжения левой рукой, как бы не знающей, что в это время делает правая и что делает она сама, довел усилие до конца.

Острый каблук, точно гвоздь в барабан, вошел в тугое Лизино горло, глаза ее вытаращились и

налились свинцом. Обмерший Ситников выдернул мокрую шпильку, и тотчас плюнуло густокрасным, будто из резко сдавленного тубика. Лиза обмякла, пальцы ее, все еще сжимавшие туфлю, словно сыграли судорожную хроматическую гамму. Ее невыносимо тяжелый свинцовый взгляд точно провожал уплывающего Ситникова, и сама она делалась тяжелей, тяжелей, на губах ее вздулся мутно-алый кровавый пузырек и стал расти, расти, словно это была небольшая Лизина душа в родовой плеве, колеблемая потусторонним сквозняком. Потом пузырек лопнул, оросив запрокинутое Лизино лицо мелкими веснушками, и тяжелая Лиза, глядящая теперь в никуда, выскользнула из рук трясущегося Ситникова, мягко покатила за кровать, пятная простыню кровавыми следами, похожими на красную штопку, заворачиваясь в эту простыню вместе с туфель-убийцей, засыпая там, внизу, в укромной ложбинке, где ее выдавал лишь косо натянувшийся оконный тюль.

В этот самый миг захрустели, заклацали дверные замки. «Зайка, это я!» – послышался из холла бодрый голос Фролова, понятия не имевшего, что его двухметровая зайка спит за кроватью на полу и ничего не слышит. Ситников, пришептывая от ужаса, сгреб свою бренчащую ключами и пряжками мятую одежду и бросился к приоткрытой створе платяного шкафа.

Всё.

– Леша! Леша, тебе нехорошо? – Галочка, испуганно мигая, склонилась над Ситниковым, по-

лулежавшим на диване, с твердой, как его ноющая печень, подушкой под локтем.

– Нет... Ничего. Голова что-то закружилась. Душно тут... – Ситников с трудом приподнялся, сел. Волосы на онемевшем затылке были будто вживленные электроды.

– Сейчас, водички принесу. Или чайку горячего, – засуетилась Галочка, хватаясь за чайник.

– Не надо ничего. Я покурю схожу, – Леша поднялся на ноги, заставив Галочку хлопнуться попой на диван.

– Душно, говоришь, а сам пошел никотином дышать, – проговорила Галочка неприятным рассудительным голоском.

Вагонный коридор, лаковый и как будто зеркальный, хотя в нем, кроме как перед туалетом, не было ни одного зеркала, пропустил Ситникова после внимательного осмотра. В холодном курыщем тамбуре опять смолил папироску давешний качок и с ним трое или четверо таких же, с головами как чугунные ядра, с золотыми яркими крестами в нагрудной шерсти. Они занимали тамбур плотно, будто забитые в большую печь суковатые дрова; Ситникову, чтобы пристроиться в уголок, пришлось поднырнуть под толстыми, упирившимися в стенку, руками. Качки над чем-то гоготали, мысли Ситникова путались, сигарета на вкус отдавала известкой. Но времени не было, совсем не было, и если Ситников хотел себя обезопасить, он должен был немедленно сосредоточиться.

Итак, имеем два вопроса. Вопрос первый: всегда ли покойная Лиза будет ластиться к Ситнико-

ву невесомым шелковым призраком, или это когда-нибудь прекратится? Вопрос второй: что делать с Галочкой? Можно так: где одна, там и другая. С поезда столкнуть не получится: двери и окна задраены под кондиционеры, пассажиры в спальном вагоне у быстроглазой внимательной проводницы все наперечет. Стало быть, в N-ске. Пригласить погулять после ужина. Там, помнится, в самом центре такие глухие и страшные дворы, застройка позапрошлого века, желтые наледы, сосули, белье на веревках, метель... Ездили зимой, но сейчас, в августе, там, наверное, еще укромнее: мерзлые культи тополей, похожие на кактусы, теперь оделись листвой, в темных углах разрослись узорчатые сорняки... Потом заявить, что Галина Валентиновна Панова на что-то обиделась, убежала в ночь, в гостиницу не пришла. Для правдоподобия поссориться с ней в ресторане, довести до слез... Проще простого.

Но не так все просто. Прилипчивый следователь сразу заподозрит неладное, а уж мадам адвокат просто обнюхает каждый квадратный сантиметр, найдет какую-нибудь капельку, ниточку, ошметочку, изобличающую Ситникова. А самое главное – с исчезновением Галочки растает и тот волшебный покров, под которым Ситников, в полной безопасности, недосыгаемый для милиции, танцует под Моцарта. Как же поступить?

Впервые Ситников подумал о том, что от любви, этой непонятной и враждебной энергии, может быть польза. Галочка, и только она, вырабатывает вещество, идущее на защитную ткань для Ситникова. И пока она делает это, пока снимает

свой многосерийный фильм про городского романтика, никто до Ситникова не доберется. Идеальная секретарша, идеальная свидетельница, идеальная жена. Вот шеф разозлится. Будет делить с Ситниковым Галочкину заботу. А куда он денется? Ситникову в первую очередь достанется и кофе с шелковой пенкой, и вкуснятина на подогретой тарелке. А если еще родится ребенок...

Надо все решить. Надо все решить прямо сейчас. Ситников, давно оставшийся один в сером железном тамбуре, накурился так, что щипало распухший язык. Пора, пора. Когда он возвращался к себе по пустому ночному коридору, по правую руку от него, в закрытых спальнях отсеках, сопела, похрапывала, бормотала теплая жизнь, а по левую руку летела в одинаковых окнах ирреальная тьма.

Галочка сидела на диване очень прямо, положив напряженную, немного дрожащую ладонь на раскрытую книгу. Увидев Ситникова, она уронила томик и отшатнулась.

— Гал, ты чего? — произнес Ситников ненатуральным голосом, запирая купе.

— Нет, ничего, просто я... — Галочка пристально смотрела на Ситникова. — Ты улыбаешься так, будто сейчас меня задушишь.

— Вот глупости! — неискренне возмутился Ситников, сжимая Галочкину руку и напоминая себе, что надо будет сейчас поцеловать эти мягкие, как виноградины, наманикюренные пальчики. — Гал, выходи за меня замуж. Лучше тебя никого не найду.

ВОСЬМОЙ ШАР

В этом году бабье лето перестаралось. После мокрых холодов начала сентября наступила жара, и площадь Трех вокзалов напоминала покрытую горелым маслом раскаленную сковородку. Пересохшие палые листья валялись под ногами проезжающих и отъезжающих, будто бесплатные чипсы; от их шершавой, царапучей сухости еще больше хотелось пить, пить, пить, и граждане пассажиры, впряженные в тарахтящую колесную кладь, выстраивались в толстые очереди к точкам, продающим напитки. Слепящее бледное солнце все обливало стеклом, отчего стоявший на площади памятник П.П. Мельникову более всего напоминал гигантскую бутылку темного пива, водруженную, от посягательств жаждущих, на высокий постамент.

Именно это сравнение первого российского министра путей сообщения с пивной бутылкой вертелось в перегретой голове здорового одутловатого бомжа, передвигавшегося по площади с матерчатой кошелкой, в которой сиротли-

во болтались две стеклотарины. Вид у бомжары был устрашающий: заплывшая рожа в малиновых пупырях, кривая борода, грубая и вонючая кожаная куртка, похожая на изоржавленный доспех, из-под куртки – засаленные тренировочные штаны, бывшие некогда «Адидасом» китайского производства, из-под штанов – растоптанные кроссовки уже совсем неизвестного происхождения, будто бы обе с левой ноги. В целом этот дородный бомж напоминал опустившегося боярина, которому царь Петр отрубил бороду топором. Подумавшие так не были бы далеки от истины: под мерзкими тряпками, под жгучим на солнце красочным гримом и нахлобученными волосьями скрывался не кто иной, как Дмитрий Дмитриевич Мухин, известный бизнесмен. Вонючий прикид в совокупности с работой вертявого гримера обошелся Мухину в четыре тысячи зеленых американских рублей.

Из-под мужицких кустистых бровей, тоже приклеенных и немного мешающих моргать, неузнаваемый Мухин цепко сканировал площадь. Тут и там он видел своих. Вот проковылял, в землистом пальтишке, превосходно загримированный Котя Синельников, креативный директор «СпектрМедиаГрупп». Далее маячил, похожий в зеленой куртке на грязный овощ, Маркуша, Марк Семенович Мирчин, крупный финансист. Какой-то вальяжный качок, вывалившийся, помахивая пухлой барсеткой, с Казанского, попытался было пнуть Маркушу, неловко наклонившегося за бутылкой: тут же напряглись двое в одинаковых белых рубашках

и с одинаковыми крепкими затылками, делавшие вид, будто изучают ассортимент цветочного киоска. Однако Маркуша вывернулся, уцепив и бутылку, победно блеснувшую; двое снова ослабились и вернулись к розам, которые орошала, фукая серой водной пылью из пульверизатора, разбитная продавщица.

На площади присутствовали и дамы. Госпожа Александра Алексина, хозяйка серьезного риэлтерского бизнеса, коллекционирующая меховые манто от J. Mendel, сейчас щеголяла в мужской ветровке, словно сшитой из грубой оберточной бумаги; перекошенная короткая юбчонка открывала полные ноги в драных черных колготках; из больших овальных дырьев на колготках словно лезла старая вата. Вот уж чего нельзя было предположить в госпоже Алексиной – так это победившего целлюлита. Казалось, ничто не могло одержать победу над волей этой железной леди. Будучи уже далеко не девчонкой, госпожа Алексина приехала в Москву из страшненького медеплавильного городка Краснокурьяинска, сделала деньги, завоевала столицу, последовательно вышвырнула, словно шелудивых котят, трех молоденьких мужей – двух блондинов и одного брюнета. Госпожу Алексину уважали и побаивались. Но сейчас железная леди выглядела растерянной. Вместо того чтобы собирать стеклотару, она бесцельно бродила туда и сюда, то и дело попадая в медленные, тускло горящие в собственном смоге автомобильные потоки. Госпожа Алексина, однако, не смотрела по сторонам: в руке ее посверкивало, пуская дрожащие солнечные зай-

цы, дешевенькое зеркальце. Уставившись на свое отражение, госпожа Алексина то щупала похожий на грязную малярную кисть клок парика, то кривилась, изучая морщины, искусно наложенные на ее гладкое, будто клякса воска, начисто лишенное возраста лицо. Словом, дама вела себя неадекватно. На локте ее болталась, колеблемая ветерком, пустая кошелка.

По правде говоря, у всех участников соревнования успехи были так себе. Оказалось, это трудно – собирать пустые бутылки. Погода благоприятствовала, жажда томила всех, тут и там какой-нибудь взмокший гражданин, стоя в позе горниста, выглатывал бурлящее пиво из вожденной стеклотары. «Не оставите бутылочку?» – подобострастно обращался к гражданину запыхавшийся Мухин, прибежавший на сигнал пивного горна. Гражданин настороженно косился, продолжая упруго качать в себя мутнеющее питье, или вовсе поворачивался спиной, на которой расплывались, прилипая к розовому телу, влажные пятна. Бизнесмен Мухин, привыкший весьма ценить каждую минуту своего рабочего времени, использовал ожидание, чтобы наметить взглядом следующий объект – а когда оглядывался, не было уже ни гражданина, ни бутылки. Никто не дожидался внимания Мухина, никто не сотрудничал. Стеклотара словно проваливалась сквозь землю: казалось, площадь Трех вокзалов обладает тем же досадным свойством, что и рабочий стол Мухина, на котором, если не проследит секретарша, пропадает без следа нужный документ.

За полтора часа соревнования Мухин изрядно устал. Ему буквально мерещились эти медленно выпиваемые бутылки: запотевшие, оплывающие толстыми каплями, будто горящие свечи; накачаннные перепончатыми пузырями и тяжким, несвежим дыханием пьющих. Казалось, бутылки содержали частицы душ напившихся граждан — и души эти были неуловимы. Мухина так и подмывало позвонить водителю Валере, велеть ему купить четыре ящика «Балтики», вылить жидкость на землю, а стеклотару, чистую от человеческих эманаций, доставить шефу. Но подобные действия, по правилам соревнования, были строжайше запрещены.

За всем этим стоял человек по фамилии Хазарин. Энергия его была такова, что в его присутствии лопались, будто мыльные пузыри, электрические лампочки. В анамнезе он был выпускник циркового училища, жонглер; его большое лицо, украшенное очень бледными, как бы радужными, глазами навывкате, всегда сохраняло напряженное и мечтательное выражение, точно он по-прежнему поддерживал в воздухе маленькую планетную систему из невидимых шаров. Собственно, так оно и было: бизнес Хазарина опирался на воздух и ни на что больше. Хазарин был великий мастер концептуальных развлечений. Его приглашали наперебой модные клубы: там он устраивал трэш-вечеринки, куда полагалось являться в одежде, сшитой из мешков для мусора, и Брежневские чтения, где никто ничего не читал, но все пили грубую водку и закусывали розовой,

будто нарезанный ломтями рулон туалетной бумаги, докторской колбасой, причем столы были застелены слоями настоящих, с портретами Леонида Ильича, советских газет.

Отдавая много сил клубным затеям и безбашенным корпоративкам, Хазарин по большей части действовал самостоятельно. Он первым уловил момент, когда заниматься горными лыжами и дайвингом перестало быть круто, и предложил богатым клиентам новые виды экстрима. Он без предупреждения брал их теплыми из шелковых постелей и отправлял, с пятьюдесятью рублями в кармане, самолетом в Анадырь или в Бийск, без права на телефонный звонок. Он сколачивал из них бригады разнорабочих и продавал на месяц золотозубым кавказцам. Желающие могли посидеть в настоящем КПЗ или поработать наркокурьерами на настоящую мафию. Столичных бизнес-леди постбальзаковского возраста Хазарин наряжал проститутками и вывозил стоять, под прикрытием своих бойцов, вдоль определенных автострад – что чрезвычайно льстило дамам, в обычной жизни носившим строгие костюмы и напоминавшим в них стальные тяжелые сейфы. Размалеванные, кудлатые, с затянутыми в лоснистый стрейч тюленьими формами, они терпели и холод, и дождь – и ничем так не гордились, как затормозившей возле них допотопной иномаркой с задрипантым клиентом. Не факт, что все клиенты отсекались дежурной обслугой: иногда от дам поступали особые указания, и поговаривали даже, будто некоторые отношения приобрели постоянный характер, уже без посредничества

ва псевдосутенеров. Вообще у тех состоятельных господ, кто прошел через хазаринский экстрим, что-то менялось в повадке, в стиле руководства своими структурами. Каждый отдельный хазаринский проект был засекречен, но участники узнавали друг друга по глазам, в которых появлялся жесткий, совершенно бесцветный блеск – в каком-то смысле более ценный, чем сверкание пятикаратного бриллианта.

По сравнению с тюрьмой и каторжными работами на диких стройках, акция по сбору стеклотары была спокойной, для многих разминочной. Мухин, однако, не решался пока что заходить дальше. Он подался к Хазарину потому, что чувствовал себя обманутым жизнью. Что-то странное произошло со всеми. Мухин осознавал, что так называемые незащищенные слои населения, прежде строившие коммунизм, а теперь лишенные всего, называют себя обманутыми с гораздо большим правом, чем он, бизнесмен. И все-таки существовала и симметричная бедности ловушка для человеков, в которую Мухин угодил с разгоном, не сразу поняв, отчего жизнь вдруг лишилась смысла.

Деньги, которые он наживал, наживал и вот нажил, внезапно как бы потеряли покупательную способность. Все, чего хотелось раньше, стало доступно – но тут же выяснилось, что статусные предметы роскоши на девяносто пять процентов состоят из иллюзии. Призрачный, лукавый блеск сбывшейся мечты оказался страшнее, чем неутоленная жажда обладания, столько лет томившая Мухина. Пафосные мировые курорты в реально-

сти проиграли глянцевым картинкам из собственной рекламы; от регулярного переедания стерлись вкусовые рецепторы; бриллианты обернулись всего лишь углеродом, тем же самым, что содержится в графите копеечных карандашей. Столько нервов было сожжено, столько потрачено сил, столько грехов принято на душу – и все впустую. По энергозатратам, по личным рискам путь Мухина к деньгам был сопоставим с тем, что обычно называют подвигом – но за такие подвиги не полагалось орденов. За такие подвиги полагались прессинг чиновников и глухая нелюбовь народных масс. Все это разрушало физически. Мухин ощущал в себе свои попаренные нервы, точно часть его мозга превратилась в торф; грехи едко тлели по ночам, как тлеют черные от смол легкие курильщика. Мухин знал, что так оно и будет, сколько ни занимайся здоровьем.

Деньги обманули. По отношению к бизнесу они были сырьем, таким же, как молоко или какао-бобы (Мухин производил довольно неплохой и неплохо брендированный шоколад). По отношению к самому Мухину деньги были ничем. Существовая главным образом в электронном виде, деньги представляли собой единицы информации, не носившей никакого отпечатка личности Мухина. Принадлежащие Мухину евро и рубли ничем не отличались от евро и рублей, принадлежащих другим людям. Из-за этого Мухин сам себе казался не вполне достоверным, не совсем настоящим. Часть его личных средств была, еще давно, вложена в десять элитных квартир, сдававшихся, через агентство госпожи Алексинной,

состоятельным иностранцам, работавшим в Москве. Особенно из-за этой недвижимости Мухина не оставляло обидное ощущение, будто он наживал не для себя, а для других: вот для этих мистеров, похожих на очкастых оципанных орлов, и для их бесцветных миссис, что живут теперь в завидных апартаментах с видами на прятные московские церковки и посылают Мухину на банковский счет состоящие из денег безличные мессиджи.

Единственное, на что деньги еще годились – это для покупки людей: тех, кто еще не достиг призрачной области осуществления желаний, но с напряжением всех сил туда стремился. И курьезные, едва совершеннолетние, блондинки, и бодрые менеджеры, и набрякшие, с печальными мудрыми глазами, деятели культуры – все хотели быть купленными. Некоторых знакомых Мухина это доводило до пограничных состояний разной степени тяжести. Охреневшие, обдолбанные, облитые до ширинки раритетным алкоголем, они куражились, пробуя на прочность незримые запретные границы, – и что-то в результате у них случалось с вестибулярным аппаратом: даже на трезвую голову их слегка качало, они шарахались от ступенек и слишком длинных и резко очерченных теней.

Мухин, человек здравый, ни разу не соблазнился последовать их примеру. Он тоже покупал людей – но исключительно для дела, приговаривая: «Велика Россия, а работать некому». На шоколадную компанию Мухина с интересом смотрели крупные западные игроки, несколько кон-

дитерских брендов и инвестиционных фондов весьма настойчиво предлагали продать бизнес, при неудаче грозило недружественное поглощение, со всеми вытекающими обстоятельствами. Мухину требовался топовый финансовый директор, гроссмейстер, способный развязать хозяину руки для производства; такого директора в обозримом пространстве нельзя было достать ни за какие деньги.

Словом, к сорока восьми годам Дмитрий Дмитриевич Мухин обнаружил себя в том состоянии жизни и духа, когда сделалось невозможно оставаться наедине с самим собой. Тут и подвернулся радужный Хазарин, человек-шар.

Хазарин был тучен, причем с первого взгляда становилось понятно, что он все время прибавляет в объеме. На его тугой, приятно загорелой физиономии следы былых морщин едва белели, будто полустершийся рисунок мелом; брючный ремень, сделанный на заказ, делил его пузатый корпус ровно пополам, напоминая полоску на детском мяче; из раствора плохо сходящейся рубахи выглядывал толсто завязанный пуп, похожий на тропический фрукт. При этом совершенно не создавалось впечатления, будто тучность Хазарина гнетет его к земле. Наоборот: раздуваясь, он точно становился воздушнее, легче; его маленькие, дамского размера, дырчатые туфли были проворны, как мыши, и если никто не наблюдал, Хазарин норовил пробежаться на цыпочках; казалось, что если хлопнуть Хазарина по лысой макушке, он высоко подпрыгнет. Мухин

где-то читал, будто даже самый талантливый жонглер удерживает на орбите только семь шаров, а восьмой, роковым образом превышающий человеческие возможности, обязательно роняет на землю. Мухину мнилось, будто Хазарин каким-то странным способом сам превратился в этот восьмой невозможный предмет – сделался главным шаром создаваемого им незримого маленького космоса. Смысл этого превращения Мухин постигал не вполне.

Ели бы хазаринские акции имели целью, окунув богатеньких в холод и грязь, вернуть им аппетит к достигнутой роскоши – Мухин бы на них не повелся. В этом случае социальный экстрим был бы не лучше, чем потоки пошлой рекламы, которую Мухин ценил как бизнесмен, но как человек – ненавидел за примитивную имитацию счастья. Нет, тут было что-то другое. Мухин подозревал, что шарообразный жонглер имеет свою, неявную цель. Цель эта состояла, очевидно, не в деньгах: стоило Хазарину схватить из воздуха куш, как он тут же запускал его обратно. Через его широкие емкие лапы проходили немалые потоки денег – но, кажется, мастерство циркача заключалось именно в том, чтобы ничего не уронить к себе в карман. Вряд ли Хазарин хлопотал, чтобы угодить сильным мира сего: скорее, он их использовал – как никак, среди успешных граждан, если сдуть налипшую пену, было не менее пятидесяти процентов очень качественного, сильного и жизнеспособного человеческого материала.

Мухин предполагал, что в хазаринском проекте происходит примерно то же, что и в цирке, от-

куда Хазарин возник, будто мягкий радужный пузырь из чашки с мыльной водой. Мухину казалось, что всем известное устройство из наивной, как детская песочница, цирковой арены, ребристого купола и натянутых между ними призрачных снастей только делает вид, будто служит для развлечения зрителей. На самом деле в цирке всякий раз, под прикрытием фанфар и мишуры, совершается попытка опровергнуть фундаментальные законы физики, прежде всего, закон всемирного тяготения; в этой шутовской реторте плавится пространство, время и человеческое тело; призрачные снасти и зеркальные яркие овалы блуждающих прожекторов составляют условие теоремы, над которой работают, вспыхивая, воздушные гимнасты.

Точно так же и проекты Хазарина словно пытались вернуть сложившееся положение вещей в состояние вероятностное. «Народ и общество едины!» – таков был девиз его трудов. Хазарин создавал параллельную реальность, в значительной части бутафорскую: экстремалов, заброшенных самолетом в медвежьи углы, исподволь вели хазаринские люди, да и дикие работодатели, понимавшие из русского языка исключительно мат, наверняка были наняты в проект. И все-таки люди из общества иногда не возвращались из походов в народ. Мухин, будучи в здравом уме, не мог вообразить такого фокуса, чтобы какой-нибудь бизнесмен вдруг решил опроститься и променять свою не особенно счастливую, но все же человеческую жизнь на вонючий бомжатник или запыльный поселок, с женитьбой на толстой и све-

жей учительнице начальных классов. Криминальная версия тоже не работала: активы невозвращенцев растаскивали родственники, партнеры, но никак не Хазарин. Мухину представлялось, что Хазарин запускает богатых экстремалов, будто ложку в кастрюлю супа, в густую и темную, сдавленную собственной тяжестью, народную толщу. Что он хочет этой ложкой зачерпнуть? Мухин не знал.

Ноги Мухина в чужих кроссовках превратились от жары в горячие пироги; из-под парика ползли, шевелясь, соленые капли, отчего казалось, будто парик, вопреки строжайшему условию, завшивлен. Все три вокзала, колеблемые волнами сладкоголосых железнодорожных объявлений, смахивали на миражи: регулярный и скучноватый Ленинградский был разделен полосами ровного марева на три горизонтальные части, шпиль Казанского плавал отдельно от коренастого основания; в недостоверных слоях, порезавших архитектуру на куски, словно поблескивала сталь. Выглядело так, будто Хазарин, вырвавшись джинном из пивной бутылки, воздвиг эти недостоверные железнодорожные дворцы за единую ночь, чтобы вернее измотать попавшихся ему простаков.

Стоп, а это кто такой?

Новый – или прежде не замеченный Мухиным – участник соревнования был одет и загримирован иначе, чем остальные. На тщедушном мужчине пузырилась сизая, когда-то белая, рубашка, такая ветхая, что должно быть, разлезалась

по сгибам, будто старый бумажный документ. Приличные темные брюки, на волосах, пробитых сединой, – матерчатая кепочка, какие носят пенсионеры-огородники... Бомжа в мужчине выдавала разве лишь зябкость – обтерханные, большие, как почтовые конверты, манжеты рубахи были, вопреки жаре, застегнуты на самых вздутых кистях, напоминавших красный фарш. «Очень органично», – позавидовал Мухин. Мужчина двигался уверенно, чувствовал себя свободно, а самое главное – его кошелка туго скрежетала стеклотарой, плюс на спине сидел немаленький рюкзак, тоже содержавший, судя по звяку, пустые бутылки.

«Ба, да это же Серега Коломийцев! – вдруг узнал соперника Мухин. – Ну надо же, и здесь он первый!»

С Коломийцевым Мухин был знаком давно, еще с экономического факультета МГУ: сидели рядом на студенческой скамье, начинали с одних и тех же стажировок – но превосходство Коломийцева как финансиста и стратега было видно невооруженным глазом. Коломийцев резко поднялся, играя на бирже: был подозреваем в получении инсайдерской информации, однако знавшие Серегу лично относили его успехи исключительно на счет его зверской интуиции. Если кто-то и чуял – не в переносном, а в самом буквальном смысле слова – запах денег, то это был, безусловно, Коломийцев. Мухину было известно, что Серега создавал для больших финансово-промышленных групп карманные банки – через некоторое время переставшие быть карманными. Потом Коломийцев

исчез из поля зрения: по косвенным данным, уехал в Европу. Весьма вероятно, что теперь вот этот сухой мужичонка в садоводческой кепке ворочает где-нибудь миллиардными активами. А может быть?.. А вдруг?.. Ну, например, ушел на покой, заскучал, ищет теперь, чем бы заняться интересным. Не зря же обратился к Хазарину, массовику-затейнику. Нет, Коломийцев в роли финансового директора компании «Русский шоколад Мухина» – это, конечно, из области мечтаний. Но мечтать-то не вредно! «Вперед, это шанс!» – сам себе скомандовал Мухин и, размахивая кошелкой, двинулся туда, где финансовый гений, глухо гремя, обследовал урну.

– Серый, привет, – Мухин, сильно волнуясь, тронул Коломийцева за костлявое плечо, оттянутое вниз рыжей лямкой рюкзака.

Коломийцев вздрогнул, отчего рюкзак на его спине увесисто брякнул. Он обернулся, топыря руку в грязной нитяной перчатке, и Мухин снова поразился качеству грима: усохшее, сточенное книзу лицо Коломийцева покрывал тот самый красно-ржавый загар, какой бывает только у бездомных, нос напоминал обглоданную кость.

– Муха, ты? Тоже здесь? – Коломийцев осклабился, показывая ровный ряд дорогих зубов, безусловно, его выдававший. – Страшно рад тебя видеть!

Однокашники обнялись, охлопывая друг друга с гулким звуком, напоминавшим волейбол. Когда растроганный Мухин отстранился от Коломийцева, он увидел, что в глазах приятеля, выцвет-

ших, будто засушенные в гербарии забвения, мелькнуло странное выражение как бы жалости к нему, Мухину.

– Да вот, все достижения, – Мухин с шутовой удрученностью предъявил свою обвислую кошелку. – Зато ты чемпион! – он уважительно потрогал туго набитый рюкзак, напоминающий кладку какого-то фантастического насекомого.

– Да не вопрос! – с живостью воскликнул Коломийцев. – Хочешь, научу тебя за десять минут?

– Да ладно, чего теперь, – отмахнулся Мухин. – Ты выиграл уже, до финиша остался час, Хазарин придет вот-вот. Серый, я тебе вопрос один задам, некорректный. Не хочешь – не отвечай.

– Ну? – сощурился Коломийцев.

– Ты сейчас при очень больших делах?

Коломийцев молча смотрел в лицо смутившемуся Мухину, его узкая улыбка напоминала светлую царапину на покрытом ржавчиной металле.

– Ладно, извини, – Мухин, поморщившись, отвернулся. – Пойду еще поброжу...

– Стой, – Коломийцев ухватил понурившегося Мухина за жухлое кожаное предплечье. – Если спрашиваешь, значит, у тебя проблема. Излагай.

Тут же Мухин забыл про все три вокзала, про пустые бутылки и даже про жару, превратившую парик на его голове в тлеющий костерок. Он говорил толково, емкими фразами, не скрывая никаких раскладов, и время от времени быстро взглядывал на Коломийцева, отчего приклеенные брови сильно дергали кожу и кусались, как шершни. Коломийцев слушал, уставившись вниз,

на носок своего коричневого ботинка из коллекции Bally незапамятного года, которым, по знакомой Мухину привычке, отбивал неспешный ритм одному ему слышимой музыки.

– Короче, вот такие дела, – закончил Мухин. – Если вдруг согласишься, Серый, то зарплату назначишь себе сам. Бонусы – само собой. Пакет акций – обсуждаемо. Вполне обсуждаемо! Ну, что скажешь?

– Знаю, деньги не пахнут, но чувствую, пахнет деньгами... – пробормотал Коломийцев в такт своему ботинку, похожему, из-за многих слоев наложенного крема, на оплывшую и зачерствелую шоколадную конфету. – Пара-пам, пар-пам, пара-пам, под ногами... Я должен подумать, Муха. Вот стишок допишу, тогда отвечу. Эй, глянька туда, что за благородное собрание?

Мухин оглянулся. Действительно, и грязно-зеленый Маркуша, и Котя, стерший рукавом с лица половину грима, и остальные, косматые и вислозадые, участники проекта стянулись к бетонному квадратному вазону с чернильными астрами. На краю вазона, некрасиво расплывшись бедрами, сидела госпожа Алексина и рыдала захлеб. Запустив скрюченные пальцы во вздыбленный парик, она раскачивалась из стороны в сторону, ее мокрое лицо напоминало только что вынутый кляп. У ее скособоченных башмаков протолкавшийся Мухин увидел картонку – пустой сигаретный блок; в картонке, будто первые капли крупного дождя, блестели монеты, валялись тряпичные десятки и даже рыжела сотенная, видимо, брошенная кем-то, не выносившим женских слез.

– Она лежала тут... коробка... Я просто посидеть... – толстым мокрым басом бормотала госпожа Алексина в промежутках между всхлипами. – Убью Хазарина, падлу... Яйца ему оторву...

И стоило ей это произнести, как за спинами стоявших затормозил белоснежный, с кошачьим выражением раскосых фар, микроавтобус Mercedes. Из микроавтобуса ступил на запудренный пылью асфальт не кто иной, как сам Хазарин, одетый в превосходный светлый костюм из дикого шелка, с кокетливым платочком в нагрудном кармане.

– Что происходит, господа? – доброжелательно осведомился Хазарин.

– А, приехал, с-сука! – Растрепанная, с красным дымом в заплывших глазах, госпожа Алексина бросилась к нарядному Хазарину и ухватила его перепачканными руками за чистые, будто ангельские крылышки, безупречные лацканы. – Где ты взял фотографию моей покойной мамы?! Украл?!

От неожиданности Хазарин замахал руками и немножко отделился от земли.

– С чего вы взяли, Александра Васильевна, дорогая моя? – засипел, мотая головой в сдавленных пухлых подбородках, отставной жонглер.

– Ты меня под маму загримировал! – рычала горлом госпожа Алексина. – Чтобы маме моей подавали на площади! Как ты мог, как ты смел, ублюдок! Урод!

– Сашенька, милая, ну это же просто семейное сходство, – вмешался Маркуша, держа перед собой поднятый с земли хлипкий картонный пенальчик с ерзающими монетами. – Пример нало-

жил морщинки, вот и стало похоже. Вы же с мамой родные люди. А господин Хазарин здесь совершенно, совершенно ни при чем.

– Правда, Алексан-Васильевна, забейте, – веселым голосом посоветовал Котя Синельников, похожий размазанным лицом на размазанный след от сапога. – Возьмите эти деньги да купите себе йогуртовый тортик!

– Нет! Это мамино, – хрипло проговорила госпожа Алексина, забирая у Маркуши картонку и бросая помятого Хазарина, тотчас распутившего на лице широкую добрую улыбку.

– Прошу, друзья мои, на подведение итогов! – Хазарин любезным жестом распахнул сверкнувшую дверцу микроавтобуса.

Тут забывшийся было Мухин краем глаза заметил, что Серега Коломийцев потихоньку пятится, выбираясь со своей громоздкой стеклотарой из маленькой толпы.

– Серый, не скромничай, поехали, поехали, – широкий Мухин обнял тщедушного приятеля вместе с рюкзаком и снял с его набрякших, перерезанных тяжестью, пальцев тугую кошелку. – Это не мое, это его, Сереги! – возглашал он, поднимая кошелку на всеобщее обозрение и увлекая Коломийцева к микроавтобусу.

– Поедем, красавица, – ласково проговорил Маркуша, поддерживая опухшую, дышащую как насос, госпожу Алексину под массивный локоток.

К месту подведения итогов двигались колонной, причем только головная машина была бело-

снежной, остальные, с охраной и сопровождением притомившихся бомжар, были черными, гладкими, будто крупные глотки густой и жирной нефти.

Для церемонии Хазарин выбрал, временно освободив его от обитателей, настоящий бомжатник. В подвал спускались по решетчатым железным ступеням, издавая звук, напоминавший тир. В бомжатнике пахло невымытой человечины, словно внутри головки недозрелого сыра, и этот запах только слегка разбавлялся цветочной дезинфекцией; по стенам тянулись облупленные трубы, старые капли краски на них, будто сосцы, истекали мутной водой. В этой обстановке странно смотрелись белорубашечные официанты, разносившие напитки; тонкие бокалы с бледным шампанским выглядели здесь сосудами чистоты, и все участники соревнования жадно глотали брют, отдававшийся внутренним стуком у них в головах.

Госпожа Александра Алексина сидела на голлом топчане, мокро всхрапывая остатками плача. При этом она расшибленно и нежно улыбалась, глядя в свою коробочку с деньгами, пальцем передвигая там монетки, словно это были буквы, из которых складывались одной госпоже Алексинной понятные слова.

– Хорошая женщина, – конфиденциально произнес Маркуша за плечом у Мухина. Мухину, плотно опекавшему отрешенного Коломийцева, сильно не нравилось, что Маркуша, медленно мигая желтыми топленными глазами, все время трется около. Мухин подозревал, что чуткий Марку-

ша что-то просек и тоже выпасает финансового гения для своего, растущего, как гриб, «Инициатив-банка».

– А что с ее мамой, что за история? – отрывисто спросил напряженный Коломийцев.

– Как, вы не знаете? – Маркуша поднял подкрашенные брови, похожие на круги от мокрых стаканов. – Так я вам расскажу, конечно. Мама у Сашеньки сильно болела. Сашенька, золотая медалистка, не поехала поступать после школы в Москву. Десять лет ухаживала за мамой одна, любила ее, будто своего ребенка. Они поменялись местами, мама и дочка, так бывает иногда, молодые люди... Но в пожилого человека как ни вкладывайся, а конец один. Сашенька обещала маме норковую шубку, да только не успела. Какие у нее были деньги на должности школьного завуча, после местного пединститута? Я вам отвечу: никакие. Теперь покупает маме одно манто за другим, а передать не может. Я вам говорю, молодые люди: женитесь! Хорошая женщина, очень хорошая...

– Так вы же сами вдовец, Марк Семенович, – с веселым раздражением отозвался Мухин. – Все изображаете патриарха: «Молодые люди, молодые люди...» А сами старше меня всего на восемь лет, насколько мне известно. Вот идите и осаждайте крепость.

– Вы советуете? – вдруг заволновался Маркуша и посмотрел на Мухина просительно, точно от мухинского ответа зависела позиция госпожи Алексиной по этому, глубоко личному, вопросу.

Однако Мухин не успел ничего сказать. В подвале раздалась сочные аплодисменты, и маэстро

Хазарин, словно возникший из трещины в облупленной стене, встал во всей своей красе над стеклянными трофеями, где плотно сомкнутая рать коломийцевских бутылок превосходила все остальные сборы, вместе взятые.

– Итак, дамы и господа, наша сегодняшняя акция увенчалась полным успехом, – провозгласил сияющий Хазарин. – Даже большим успехом, чем вам кажется, – добавил он, понизив голос и подмигивая почему-то Мухину. – Как вы все помните, каждый участник акции сделал небольшой вступительный взнос, что в сумме составило тридцать восемь тысяч долларов. Я имею честь вручить этот скромный выигрыш нашему победителю. Сергей Юрьевич, прошу!

Повинуясь цирковому жесту Хазарина, тусклые лампочки на голых шнурах, напоминавшие анализы урины почечных больных, вдруг разгорелись ярким и радостным светом. Коломийцев, деревянно ступая, вышел вперед и принял из рук циркача толстый, как батон, пакет с долларами.

– Спасибо и успехов всем, – сухо произнес победитель, сверкнув прояснившимся взглядом на присутствующих.

«А ведь станет Серега премьер-министром!» – вдруг озарило Мухина, внутренне похолодевшего.

– Ладно, Муха, завтра к шестнадцати ноль-ноль собирай совет директоров, – вполголоса проговорил Коломийцев, вернувшись на место. – Сделаем твоих покупателей. Сами их купим. Только смотри, условия мои.

– Конечно-конечно, – обрадовался Мухин.

На другое утро Дмитрий Дмитриевич Мухин, уже в своем нормальном виде, свежий и лысоватый, обильнее обычного орошенный парфюмом, ехал в своем бесшумном BMW по зеркальным и серебряным от солнца улицам, чтобы готовить важное совещание.

Тем временем Коломийцев, сидя на железной продавленной койке, достававшей хрустким ячеистым брюхом почти до бетонного пола, внимательно смотрел в раскрытый пакет с долларами.

Сегодня он особенно тщательно вымылся в душе, располагавшемся в конце коридора и дававшем едва живую, вившуюся веревочкой, теплую струйку. Потом он надел чистую рубашу и черные льняные брюки – все ветхое, почти невесомое, слабо пахнувшее утюгом. Пора было идти. Коломийцев положил доллары в сморщенный криво зубый портфельчик, запер комнату на срезанный со старого шифоньера хлипенький замок, вышел из полуподвала на блеклое солнце и смиренно спустился в метро.

То, что он снимал теперь эту серую комнату с плаксивой ржавой батареей и сваленной в углу иссохшей наглядной агитацией (бывший Красный уголок бывшего ЖЭКа) – было шагом вперед по сравнению с тем, что происходило раньше. Коломийцеву случалось ночевать в обнимку с обвязанной попонами и просмоленной трубой теплотрассы, в которой утробно булькала горячая и мертвая река Лета; случалось спать и видеть блестящие сны, катаясь в метро по кольцевой, ощущая сквозь сон, как тяжелеет и едва не падает на пол, на манер переспелой груши, свесившаяся с

диванчика беззащитная рука. Все началось, конечно, с Хазарина, с того, что этот деятель, воспользовавшись легкомысленным согласием Коломийцева, забросил его медлительным, трясущимся, как телега, самолетом в заснеженный Владивосток. Потом была разгрузка пятидесятикилограммовых, ломавших плечи, мешков с цементом, плацкартный билет, обитый бурым дерматином переполненный вагон, за холодным окном – снега, снега, громадный чистый лист страны, пьяная поножовщина на станции Присковая, скандал с похожей на Микки-Мауса буряткой-проводницей из-за того, что Коломийцев, попытавшись помыться целиком, залил туалет.

Возвращение Коломийцева длилось всего-то две недели, но за это небольшое время в его уме, освобожденном от банковской рутины и странным образом очищенном белизной зернистых снегов, произошел определенный сдвиг. Коломийцев вдруг осознал, что так называемые «простые» люди, некрасивые, ужасающе бедные, сами частенько бессовестные, обладают в этой стране необъяснимым свойством пробуждать совесть у людей успешных, не испытывающих в этом качестве никакой личной нужды. Еще он смутно догадался, что не может судить о «простых» людях со своих позиций одиночки, употребившего только на себя собственные волю и талант. В народной толще действовал закон сообщавшихся сосудов, тысячи и тысячи жизней уходили просто на то, чтобы скомпенсировать ближнему беду и нужду, и слова «выйти из народа» означали, в конкретном житейском плане, разрыв со всеми

неблагополучными родственниками. Народ так просто из себя никого не выпускал, всему была цена, вышедшие и достигшие так или иначе ощущали свою неполноту. Граница между «простым» народом и сознающим себя обществом, как между жидкостью и газом, становилась активно проходима при опасном разогреве всей массы, как это не раз случалось в истории. Так или иначе, мораль и технологии личного успеха не вполне годились для позитивных перемен, о которых разглагольствовали политики. Иррациональное народное стремление не дать пропасть пропадающему следовало считать глобальным экономическим фактором. Нужна была иная, кооперативная основа, контуры которой сами собой стали проступать в жадно работающем уме Коломийцева, когда он, запертый в духоте и праздности, валялся с залистанным до бумажной перхоти журналчиком на верхней полке.

Пока Коломийцев тащился в бурой плацкарте через всю страну, его доверенный партнер выдал рискованный кредит, что оказалось частью комбинации, через полтора месяца выбросившей финансового гения буквально на улицу. Улица дергала, теребила, шупала, пожевывала ошеломленного Коломийцева, будто громадная рыба насаженного на крючок червяка. Коломийцев мог бы дать противнику серьезный бой в арбитражном суде, если бы улица одним из своих вкрадчивых прикосновений не лишила его документов.

За четыре года бомжевания Коломийцев прошел что-то вроде университетского курса нищеты. Он понял, в частности, устройство и ценность

помоек; благодаря тому, что возле мусорных баков иногда лежали заплесневелые, как хлеб, перевязанные бечевками старые книги и стопы опухших литературных журналов, Коломийцев прочел то, до чего в предыдущей жизни никогда бы не добрался. Он много размышлял над вторичной материальностью мира. Собирая стеклотару, он интуитивно различал бутылки, из которых разливали по емкостям, и бутылки, выпитые «из горла»: последние содержали хотя бы по несколько молекул человеческих душ – как и многое из мусора, очеловеченное, а затем отправленное в небытие. Выживая в среде, не менее циничной, чем сферы большого бизнеса, и еще подлее опутанной криминалом, Коломийцев держался особняком, избегал соблазна прилепиться к бойким добычливым бабенкам, готовым его пожалеть и пригреть. Главной доблестью Коломийцева была чистоплотность: он не упускал случая помыться и устроить постирушку, ходил в общественную баню, где щедрая горячая вода с рычанием и боем наполняла таз, а бледный слоистый луч из окошка под потолком почему-то напоминал об острове Бали. Похожие на печеную картошку товарищи по ночевкам делились опытом, что грязь, мол, держит тепло – но Коломийцев предпочитал замерзать, он сопротивлялся обволакиванию грязью, усматривая в нем попытку земли захватить человека, чтобы поскорее утянуть его в могилу. В своей полуподвальной клетушке Коломийцев чуть не каждый день делал влажную уборку, протирая сырой тряпичей даже запрещенные к выбросу щиты наглядной агитации –

отчего линейные плакаты с передовыми рабочими и профилями вождей превратились со временем в абстрактные живописные полотна. Коломийцев научился взаимодействовать с улицей, понимать ее с лица и изнанки, каждый шаг его теперь был будто стежок по этой мятой, пестрой, перепачканной ткани, будто нырок небольшой и ловкой утки за малой толикой донной еды.

Теперь со всем этим предстояло расстаться.

Коломийцев, отразившись в веере возвращавшихся стекол, вошел в кондиционированный, ртутным холодом веющий бутик. Два тонкорукых и жеманных молодых человека, ведавших торговым залом, попытались вытеснить бродягу без скандала на улицу, но Коломийцев их подчинил — и через небольшое время вышел из бутика в светло-сером, словно подернутом шелковистой пылью, костюме от Brioni, в классических туфлях и с новым крокодиловым кейсом, куда переложил пакет с оставшимися деньгами, превращенными из плотных долларовых кирпичиков в рыхлую и пеструю массу рублей. Пакет со своей старой одеждой, легкой, будто снятые бинты, плюс кривенький портфельчик Коломийцев аккуратно поместил в урну, чтобы желающие могли без труда все это извлечь. Далее были приобретены плоский, как золотая монета, хронометр Patek Philippe, пижонский мобильник Vertu и кое-что по мелочи. Затем Коломийцев посетил салон красоты, где его сухую жесткую шевелюру умащали бальзамами из упоительно чистых фарфоровых чашек, стригли одичавшие пряди, после чего на полу осталось хвои, как после простоявшей весь

январь рождественской елки. Маленькая маникюрша, склонив напряженный круглый лоб, выедала щипчиками трудовые ороговения, затянувшие ногти Коломийцева, похожие на сломанные перламутровые пуговицы. Затем лицо Коломийцева распаривали горячими салфетками, сильные пальцы косметички вбивали в морщины маслянистые снадобья. Поднявшись, как воскресший из гроба, Коломийцев посмотрел на себя в просторное зеркало. Морщины разгладились и выделялись белым на ржавом бомжовском загаре, который, конечно, никуда не делся; на Коломийцева смотрела из зеркала полосатая тигриная морда с человеческими выцветшими глазами, в настоящий момент ничего не выразившими.

На условленном углу Коломийцев обнаружил арендованный на целый день консервативный Bentley, обтекаемый и зеркальный почти до собственной невидимости среди замурзанного и пестрого автомобильного стада Москвы. У молоденького узкоплечего водителя уши были в форме бабочкиных крыльев. Коломийцев не почувствовал момента, когда автомобиль отделился от тротуара и поплыл в напряженном потоке, среди слюдяного блеска облетающих листьев. Коломийцев очень давно не видел зданий и людей из позиции пассажира авто, и теперь все казалось ему отдалившимся, будто тонированные окна Bentley показывали панорамный кинофильм. «Вот здесь я жил, ходил по этим улицам», — возникла неизвестно откуда щемящая мысль. Коломийцев взглянул на часы: две золотые ресницы элитного хронометра показы-

вали, что у него есть в запасе еще немного времени.

– Остановите, я пройдусь пешком, – велел Коломийцев невозмутимому водителю. – Вы через час должны ожидать меня... – он назвал адрес головного офиса «Русского шоколада Мухина» и снова ступил на покрытый бархатными черными трещинами бледный асфальт.

Ветер гулял, листопад мигал и светился, будто сигналил прохожим, у метро продавали обметанные серой ваткой громадные персики и черные, формой напоминающие Африку, гроздья винограда; от пустой фруктовой тары пахло молодым вином, боком валил в переулок грузный троллейбус, маленькая старушка в поломанной, оцетиженной ежом соломенной шляпке, с полуразрушенной сумочкой на зачерствавшем локте, вела на поводке громадного старого пса с глазами алкоголика; две молодые мамы бойко катили коляски, одновременно нажимая на поручни, чтобы поднять толстенные мокрые колеса на высокий поребрик. Коломийцев шел не спеша, ясно осознавая, как любит все это: острый осенний воздух, мелькающие в толпе молодые и старые лица, сырую глубину дворов, глуповатую пестроту московских витрин. Он шагал, стежок за стежком, руки и глаза сами делали привычное дело, мозг дошлифовывал детали экспансии на рынок шоколада.

Коломийцев поднялся на полированное крыльцо мухинского офиса без десяти четыре, краем глаза отметив дисциплинированно припаркованный Bentley. Мухин, розовый, как пион,

встретил Коломийцева у самого лифта; при виде своего будущего финансового директора его широкая радушная улыбка сделалась немного ошарашенной. Из-за покатога и мощного мухинского плеча высывалась, в круглых очках и с длинным носом, вместе напоминающими ножницы, растерянная секретарша.

– Может, сперва кофе? – неуверенно предложил зардевшийся Мухин.

– Нет. Приступим, – Коломийцев решительно двинулся за виляющей на шпильках секретаршей в комнату переговоров.

Там, за овальным, как блюдо, столом, сидели, с видом едоков, восемь человек, среди них одна женщина, в твидовом костюме, с лицом как мужской ботинок. При появлении Коломийцева все привстали и переглянулись.

– Не взять ли у вас пока ЭТО? – вполголоса спросила секретарша, открывая в улыбке бескровные десны.

Коломийцев опустил глаза и с некоторым удивлением увидел в своей привычно занятой и отягченной руке грязно-белый, с выданным клоком, полиэтиленовый пакет, в котором терлось не меньше десяти единиц пустой стеклотары.

– Нет, спасибо. Это наглядное пособие, – Коломийцев, бегло улыбнувшись, взгромоздил пакет прямо на полированный стол и вытащил из него зеленую, с черным остатком на дне, бутылку из-под портвейна. – Вот здесь у нас корпорация Sheppard Sweets. Здесь, – он достал свеженькую пивную бутылку, полную, будто нездоровые легкие, перегородчатых белесых пузырей, – инве-

стиционная компания Max&Dop, вид у нее, как видите, неважный...

Сидевшие за столом облегченно рассмеялись. Мухин, страшно довольный, взгромоздился в председательское кресло и сложил пальцы домиком. Через минуту все в переговорной комнате очень внимательно слушали Коломийцева. До назначения его премьер-министром оставалось восемь лет, четыре месяца и четырнадцать дней.

Тем временем Хазарин, жадно поедая булку с повидлом, набрасывал на перепачканных листках своими мелкими молниевидными значочками план очередной операции, сильно его вдохновлявшей. Старая люстра над его оплывшей, как женское колено, головой разгоралась все ярче, грубо пахло горелой пылью, и вот – последняя лампа, что еще оставалась в плафоне, цикнула и лопнула. Недовольно ворча, Хазарин наощупь достал из нижнего ящика своего тяжелого глубокого стола новую грушу в ребристой картонке. Затем, воровато оглянувшись на отсвет из коридора, он оттолкнулся маленькой ногой от коврика и всплыл, как монгольфьер, поджимая пальцы, чтобы не уронить тапки. Осторожно, держа его бумажкой, он извлек из патрона горячую кочерыжку и на ее место нежно ввинтил молочно-белый девственный сосуд. Загорелся свет.

СЕСТРЫ ЧЕРЕПАНОВЫ

Старшую звали Фекла, младшую – Мария. Фекле в январе сравнялось сорок, чего по внешности никогда не скажешь, Марии было двадцать два. Сестры были высоки, костисты, веснушчаты, точно обсыпаны свежими опилками; кратким северным летом обе загорали докрасна, шкурка с них сходила, будто с молодой картошки, зимой же большие плоские щеки сестер полыхали таким нарядным и радостным румянцем, что его хотелось повесить на новогоднюю елку.

Фекла, несмотря на здоровье и статность, так и не сходила замуж. Отец сестер, старый Сашка Черепанов, был в семье существом почти мифическим. Раз попав в колонию за пьяную драку и нанесение увечий средней тяжести, он по-настоящему никогда оттуда не вернулся, так и жил в тюрьме, будто леший в болоте, иногда показываясь в доме между отсидками, пугая красными мокрыми глазами уже имевшихся детей и делая новых. Мать, Вера Андреевна, похожая из-за частых родов на печального больного кенгуру,

умерла в райцентровской больничке, когда младшая, Машка, только начинала ходить на толстых байковых ножках и собирать-разбирать любимые больше настоящих игрушек старые амбарные замки. Отец после смерти матери исчез окончательно, точно мог из своего зарешеченного небытия являться только ей, Вере, всегда ожидавшей с чистой рубахой и бутылью густого местного самогона – а вот теперь переставшей ждать. Фекла стала мамкой и для маленькой Машки, и для трех младших братьев, Федьки, Лешки и Костика. Братья выросли и, как отец, растворились в пространстве. От всех мужчин Черепановых в доме остался собирательный образ: висевший в зале маленький и темный, мелко писанный маслом, портрет сердитого мужика в рыжей, растущей как собачья шерсть, бороде, застегнутого под самую бороду на круглые грубые пуговицы, изображенного на фоне плоской, словно бы железной реки и игравших цветами окалины закатных облаков. Маленькая Машка боялась портрета, думая, что это пропавший папка, который на нее смотрит. Фекла, лучше помнившая отца, находила, что красноватые заячьи глаза и длинный, скобкой, рот на портрете точно, отцовские, но на самом деле это другой человек, может быть, дед или прадед.

Поселок Медянка, где родились и жили сестры Черепановы, представлял собой четыре горбатые крепкие улицы, с прокопченными временем, забранными в чугунное кружево двухэтажными кирпичными домами, с выходами на поверхность,

прямо посреди грунтовой проезжей части, посеченных горбов матерого гранита; когда по этим улицам проезжали какие-нибудь колеса, улицы трещали гранитной крошкой и дымили пылью, будто подоженные петарды. От этих улиц, называемых верхними, расходились вниз, виляя, петляя и перепутываясь, переулки и закоулки. Обветшалые панельные пятиэтажки, похожие больше на производственные помещения, чем на человеческое жилье, чередовались с избами-гнилушками, вросшими по самые синенькие наличники в огородные грядки. Здесь серое дерево длинных сараев и покосившихся заборов имело железный цвет, а железо, ржавея, цвело, будто золотая, рыжая, зеленая болотная ряска.

Болото окружало поселок, зацепившийся за гранитный горб, со всех четырех сторон. Болото напоминало громадного спящего медведя, покрытого грубой растительной шкурой; болото дышало, шевелилось, ворочалось; человек, ступавший по шатким кочкам, ощущал под ногами глубокую звериную утробу, иногда издававшую глухое кишечное бурчание. Болото обладало невероятной, почти колдовской жизненной силой. Всюду, под кочками, в рябом мелкоколесье, в сабельных зарослях камыша, таились птичьи гнезда, от нежных, как пядьцы с вышивкой, гнездышек лугового конька до тазов с нарубленной гнилью, принадлежавших журавлям; яйца, большие и крошечные, напоминали цветом местную зеленовато-бурую яшму. Весной и летом болото цвело пуховым дурманым багульником, желтыми, плававшими в черно-золотой воде, шапками ка-

лужицы, мелкими незабудками, пускавшими по топям длинные яркие просини. Осенью цветы сменяла ягода: клюква, крупная, твердая, с морозом внутри; подернутая сизым дымом, жирно чернеющая от пальцев голубика; оранжевая, пупырчатая морошка-костянка. Всего этого можно было за полдня набрать вагон. Цветные лишайники на кривых древесных стволах, на черных скальных выходах, тут и там торчавших из топей, напоминали кружевные подсохшие кляксы масляной краски. Плодородие болотного торфа было таково, что на удобренных им поселковых огородах вырастали помидоры размером с турецкую чалму, желтая, как масло, сытная картошка, черная смородина с громадными, будто виноградными, ягодными кистями, забранными паутиной в белесые коконы.

Жизни в болоте было столько, что и смерти — не меньше. Повсюду сквозь ягодники и мхи торчали стебли болотной соломы, светлые, словно заиндевелые, покрывавшие болото тусклой сединой. Часто над уснувшими топиями поднимался туман — зыбкий и радужный, будто стратосферный облачный слой, стоявший по пояс человеку. Человек, оказавшийся словно в заоблачном пространстве, не видел, куда ступают его ослепшие ноги, и словно парил среди тусклых древесных переплетений, где иногда промахивала огромная, как пальто, неясная птица. Туман, бывало, не рассеивался по нескольку дней, и люди пропадали без следа; те, кто чудом выбирался из ледяной глотающей трясины, навсегда оставались бледными, точно болото высосало из них половину

крови. Почти всегда к туману примешивалась гарь: торфяники тлели тут и там, по болотным кочкам расползались сизо-черные пятна, опущенные маленьким пламенем, точно кто невидимым венником заметал бесцветную пыль; мертвые, словно облепленные высохшей грязью, древесные стволы держались птичьей хваткой корней за пропеченную почву, иногда кренились и рушились, вздымая искры, в разверзшуюся земляную печь.

Прежде поселок жил добычей и переработкой торфа. Теперь, после многих перемен, карьеры стояли заброшенными, в них набралась вода, где обитали черные, со спины похожие на змей, жирные караси. Ветер гулял в сквозных коробках осевших цехов; оборудование жители поселка разломали и растащили по домам, сами не зная зачем; экскаваторы, с которыми мужики не справились, а только сняли дверцы и сиденья, теперь торчали из болота, будто скелеты динозавров. Узкоколейка, по которой торф возили в райцентр и по которой раньше курсировал маленький, на четыре дощатых вагончика, пассажирский состав, была заброшена и зимой напоминала едва заметную лыжню, а летом зарастала травой и становилась как матрас, на котором можно было спокойно спать, не опасаясь колес. Единственное, что соединяло Медянку с внешним миром, — это построенная двадцать лет назад асфальтовая дорога, теперь превратившаяся в сплошные трещины, бугры и незаживающие мокрые язвы. Если легкую, как расческа, узкоколейку болото держало нетронутой, то дорогу, с ее насыпными грузными

слоями, рвало и пучило; ездить по ней можно было два месяца летом и три месяца зимой, а во все остальное время поселок, отрезанный от мира, был предоставлен самому себе.

Оставшись без работы и без денег, жители Медянки наладили свое, альтернативное производство. В каждом доме сопели, булькали, пощелкивали самогонные аппараты. Были портативные модели, помещавшиеся на лавке, а иногда производство занимало целый двор, представляя собой систему ржавых баков и печей, соединенных грубо сваренными трубами и мутными шлангами; дворы покрывала глухая белая зола, здесь же высились, укрытые ороговевшими пленками, громадные поленницы дров, служивших для разогрева чанов с брагой. Дело в том, что и тяжелые, как пули, болотные ягоды, и все остальные, выросшие на местном торфе, овощи и плоды обладали страшной силой брожения. Эта болотная сила и была теперь главным источником энергии для поселка Медянка. Гнать самогон можно было буквально из всего, хоть из морковки и гороха, что жители и делали, пуская в пищу лишь малую часть урожая со своих обширных пухлых огородов. Брага, помещенная в тепло, сладко вздыхала, лепила из гущи пузыри; десятилитровая бутылка, стоявшая на каждой кухне, бормотала почти осмысленно, отчего казалось, будто на полу, укрытый старым одеялом, сидя спит живой человек. Самогон из этой браги получался немыслимой крепости и густоты; налитый в стопку с горбом, он был прозрачен насквозь и, стоя на столе, увеличивал,

как лупа, порезы клеенки, прилипшую к клеенке дохлую мошку.

Муж Машки, Игорек, пил, как все мужики; как все, сделался от самогона одышлив и лупоглаз – хотя изначально, от природы, был сух и крепко просмолен, и ни одна девка в поселке не могла устоять перед его повадкой ворона, перед его облупленной, постанывающей от старости, гитарой, под которую Игорек, бывало, хрипел бандитские песни. Теперь Игорек почти исключил себя из жизни. Машка и Фекла находили его, бесчувственного, на сломанной скамейке возле бывшего дома культуры, в сырых, пачкающих зеленым, будто свежая краска, зарослях возле золотого торфяного ручейка – и, погрузив, везли домой на специальной тележке, сконструированной так, чтобы колеса на пружинных осях перешагивали камни, не тревожа спящего. У Машки подрастали близнецы, Вовка и Витька, очень для полутора годиков крупные, с характерными черепановскими заячьими глазами и с черными, словно нарисованными тушью, отцовскими чубчиками. Фекла работала сторожем в гулких коробках бывших цехов, там иногда платили по полторы тысячи рублей, – но реально сестры жили тем, что ремонтировали и отлаживали весь поселковый парк самогонных аппаратов. Дома у сестер тоже имелся аккуратный агрегатик, маленький, как шапка, но весьма производительный, выдававший в сутки по пол-литра чистого субстрата Игорьку на опохмел.

Кроме этого аппарата, в старинном доме Черепановых, состоявшем из каменного этажа и эта-

жа деревянного, сложенного из толстых, как бочки, рассохшихся бревен, работали и другие механизмы. Паровая машина, посвистывая, нагнетала воду из мерцающего черной глубиной холодного колодца; другой паровик отсасывал воду из подпола, поднимал оттуда на зарешеченной платформе хозяйственные грузы. Самодельная стиральная машина была размером с асфальтовый каток; принимая грязное в загрузочный бак, она через два часа звенела пристроенным ей на макушку железным будильником и спускала из валиков в таз горячие лепешки чистого белья. Детскую зыбку качал, сильно, средне и медленно, гидравлический рычаг, которым можно было управлять из кухни. Кроме того, смешливая Машка начинила дом множеством механических глупостей. Например, крыльцо под ногой незваного гостя могло внезапно сложить ступеньки в крутую наклонную плоскость; табуретка с секретом вдруг начинала оседать, в несколько плавных приемов втягивая ножки, пока ошарашенный гость не оказывался на полу. Хулиганистая Машка любила попугать людей, ее почему-то до смерти смешили выпученные глаза, разинутые рты и нелепо вскинутые руки, которыми человек, нарвавшийся на ее игрушку, пытался удержать равновесие. За этот залиvistый смехотун Машку в поселке считали немножко юродивой. Машка не обращала внимания, делала все, как хотела. Когда позапрошлой весной сестры чинили крышу, Машка нарисовала на красном кровельном железе белые круглые блямбы, так что почтенный дом сделался похож на мухомор или, скорее, на же-

лезный грибок, какие бывают в городе на детских площадках. Геологи, часто стрекотавшие на своих тяжелых и мутных вертолетах над сонной Медянкой, видели сверху такую несерьезность и только качали оглохшими от свиста головами.

В общем, сестры Черепановы жили хорошо. Хотя могло бы, конечно, сложиться и лучше. Когда поселковая школа еще была полна учеников и учителей, старшеклассницу Феклу Черепанову, носившую мужской тулуп, мужскую кроличью шапку и заплетавшую могучие ржавые волосы в косу, крепкую как корабельный канат, все время вызывали на олимпиады – в район и в область. Олимпиады были по математике, физике, химии, астрономии. За полчаса перерешав нехитрые задачки, Фекла отправлялась гулять, поедая на холоде в минус двадцать ломкие, в белесом хрупком шоколаде, брикеты городского мороженого, глядя на колонны, трамваи, на серебрившиеся в вышине румяной паутиной башенные краны. Потом на адрес школы приходила красная с золотом грамота за первое место. В университетско-преподавательской среде за Феклой, по причине шапки и тулупа, закрепилось прозвище «Партизанка»; никто не сомневался в ее будущей научной карьере, вопрос был только в том, какой она выберет факультет. После десятого класса Феклу брали без экзаменов в просто университет и университет политехнический. Но в мае, еще до выпускных, похоронили мамку, и Фекла, конечно, никуда не поехала.

Машка ходила в школу через десять дней на одиннадцатый: она откуда-то и так все знала.

В школе к тому времени из учителей остались хромая старая географичка, с трудом передвигавшаяся при помощи двух как бы не настоящих, словно бы кукольных ног и чудовищной палки, да бывший военрук, с головой, вбитой в покатые плечи по самые усы; они и вели все предметы в единственном старшем классе, состоявшем из восьми балбесов и Машки. Вечерами Фекла учила Машку дома. В русском языке Машка делала чудовищные ошибки, будто отверткой ковырялась в словах; на ее разлезавшийся почерк, будто сплетенный из волнистой, грубой пайкой соединенной проволоки, страшно было смотреть. Зато математику Машка считала игрой, а главное – она видела насквозь любой механизм, словно корпус его был прозрачный. Машка легко могла бы выучиться на инженера – но поселковая школа, окончательно заглохшая, уже не выдавала аттестатов. Дело было поправимо, Фекла узнавала в районе – но Машка взяла и расписалась с Игорьком, потому что так захотела, потому что ей очень понравился его плечистый, с большими клепками, замшевый пиджак.

Однажды в размеренную жизнь сестер Черепановых вмешались телевизионные корреспонденты. Они приехали на синем грязном фургоне, у которого с брюха капала болотная жижа, и принялись колотить в ворота, рискуя получить на головы Машкиного гостинца. Фекла поторопилась их впустить, и они побежали в дом, волоча жирные черные кабели, невиданные лампы на треногах, камеру с лиловым глазом, большим, как отверстие трехлитровой банки.

– Будем брать у вас интервью! – объявил их главный, толстый мужик в торчащей вперед дымной бороде, над которой нос и щеки румянились, будто три пирожка.

– Да зачем? – удивилась Фекла, вытирая руки о фартук.

– Вы, Фекла Александровна, не волнуйтесь, – посоветовал главный телевизионщик. – Где тут у вас розетки?

Загорелись, точно кругляши огненных бревен, телевизионные лампы. Через десять минут парадный угол залы был освещен необычно ярким электрическим светом, в котором вязаная крючком парадная скатерть сделалась как творог, а портрет на стене заблестел и глянул вопросительно из своих металлургических глубин.

– Это кто у вас? – вдруг взволновался телевизионщик, наклоняясь вплотную к портрету и выставляя на обозрение здоровенную, как мешок с мукой, джинсовую задницу.

– Это папка покойный, – бойко вмешалась Машка, вышедшая к незванным гостям с топочущим Вовкой у подола и с Витькой на руках, который с энтузиазмом жевал собственный кулак, запихнув его целиком в мокрый розовый рот.

– Нет, не папка, это не может быть ваш папка, – назидательно произнес бородач, подняв кривой и острый, похожий на рог козы, указательный палец. – Это Мирон Черепанов, младший из двух изобретателей русского паровоза. Видимо, прижизненный список с известного портрета, первая половина девятнадцатого века, никак не позже. Вот и подтверждение розыскам в архивах!

– Каким еще розыскам? – рассеянно спросила Фекла, с опаской косясь на Машку, которая рассматривала городских гостей нехорошо играющими глазами, отчего Фекла припомнила, что не все игрушки, устроенные Машкой в доме, ей известны.

– По архивам выходит, что вы прямые потомки Ефима и Мирона Черепановых, – важно проговорил бородатый. – Они построили первый в России паровой дилижанс, который по чугунным колесопроводам возил медную руду. Черепановская железная дорога была пущена на два года раньше, чем ветка между Петербургом и Царским Селом. Ефима и Мирона называют братьями Черепановыми, но они на самом деле отец и сын, слышали про это?

– Мне Феклуша старшая сестра, а стала за мамку, – встряла Машка, спуская на пол тяжело-го Витьку, тут же с маху севшего на попу.

– Вот видите, – рассудительно произнес бородатый, точно Машка сообщила ему еще один важный аргумент. – Потому мы к вам и приехали. Скоро юбилей первого русского паровоза. Переодевайтесь, дорогие женщины, а потом спокойненько, не волнуясь, расскажете, как живете, как носите знаменитую фамилию.

Тут Фекла заметила, что Машка как-то странно притихла. Переодетая в ненашеное шерстяное платье с пояском, она безучастно отдалась в руки узенькой телевизионной девицы и только зыркала, когда девица драла ей волосы круглой, вроде ежа, щеткой, полоская пряди и пух горячим ветром из фена. Феклу тоже причесывали, пудри-

ли колкой кисточкой загоревшееся лицо, тянули брови куда-то верх черным карандашом. Затем сестер, раскрашенных, как деревянные ложки, усадили под портрет Мирона Черепанова, сунули им на длинной палке похожий на варежку мохнатый микрофон. Но как ни старался бородатый мужик задавать вопросы, он не вытянул из сестер никаких интересных ответов. Рассказывать про самогонные аппараты было нельзя, а никаких иных достижений в жизни сестер, собственно, и не наблюдалось. Раздосадованный, но бодрый, бородач еще поснимал лоснящийся портрет, Вовку и Витьку с красным пластмассовым грузовиком на полу, кошку Мурку, гоняющую по кухне тяжеленький воркующий шарик от подшипника. На этом телевизионщики смотали аппаратуру и отбыли.

Сестры Черепановы, стоя в воротах, глядели вслед медленно уползавшему фургону, который валяло в пыли, будто котлету в муке. Под нарисованными и пропекшимися мордочками настоящие лица сестер горели огнем.

– А че, паровоз сделать запросто, – громко заявила Машка.

– Надо сварку починить, – сказала Фекла, вытирая лицо грубо порыжевшим носовым платком.

С этого дня во вверенных попечению Феклы заброшенных цехах стали происходить таинственные события. Сестры вскрыли заросшее крапивой до самых ржавых запоров маленькое депо. Там, в застывшем, будто мармелад, машинном

масле, в прогорклой пыли, в косых и тусклых, почему-то с сильной синью, солнечных лучах обнаружались памятные с детства дощатые вагончики и маленький, совершенно выпотрошенный тепловоз, похожий коробчатостью и решетчатой сеткой на носу на советский транзисторный приемник. Осмотревшись, сестры снова заперли депо изнутри и стали ходить туда ежедневно, забирая с собой Вовку с Витькой, кастрюлю картошки и банку молока. Обитатели поселка очень скоро ощутили отсутствие сестер: без наладчиц самогонное производство стало сильно барахлить. Высланные к цехам делегаты от населения видели, как Машка несет, держа клещами, сырой и красный кус раскаленного металла, как Фекла, с железным щитком на лице, варит толстый шов на боку громадного котла, и полоса стекла на щитке играет гладким белым огнем. Что касается самогонных аппаратов, то сестры теперь выходили только на самые аварийные вызовы и брали уже не тушенкой, фланелью и марлей, а живыми деньгами, которые мало у кого имелись. Деньги сестры тратили на электроды для сварки и кое-какие запчасти.

В июле, в жару, когда подсохшее болото пахло паленой шерстью, сестры предприняли дальний поход. На шаткую узкоколейку они поставили легкую дрезину, на дрезину погрузили Вовку с Витькой, палатку, припасы, инструмент. Двигаясь по десять километров в день, сестры проверяли пути, сшивали, где надо, разболтавшиеся рельсы, заменяли сгнившие шпалы свежими чурбаками. В то лето обочины узкоколейки густо заросли

мохнатыми, почти что хвойными кустами мелкой ромашки, высокими розовыми стрелами иван-чая; в горячих, распаренных цветах лениво перелетали бледные бабочки, которым, казалось, были тяжелы их большие плоские крылья; пчелы, завязываясь живыми полосатыми узелками, сосали из венчиков пьяный нектар. Вовку и Витьку с аппетитом, докрасна, ели комары, близнецы с аппетитом лопали, свистя виляющими макаронинами, походный суп – а однажды приволокли из зарослей, держа ее в четыре руки, будто шланг под сильным водяным напором, толстую гадюку. «Чугунный колесопровод! Чугунный колесопровод!» – во все горло распевала Машка, и эхо возвращалось по неживой узкоколейке, будто призрачный паровозный гудок. Так прошли все сто двадцать километров, отделявших Медянку от райцентра. В райцентре рельсы заканчивались странно: прямо в сорняках, в глухом тупике, перед пологой двугорбой свалкой, нежно горевшей битым стеклом. Зато вдоль бетонного забора тянулась узкая, будто бревно через овраг, твердая тропинка, буквально через десять минут выведившая к пыльной и многолюдной автобусной остановке.

Вернувшись из райцентра на дрезине, гладко бежавшей по заблестевшим рельсам, Фекла другими, словно горячей водой промытыми глазами увидела житье поселка Медянка. Что-то с ней случилось с опозданием на двадцать лет. Она увидела похожих на тряпичные личинки беззубых старух, шаркавших с пустыми кирзовыми сумками в почти всегда закрытый магазин. Она увидела фельдшерский пункт с холодной, заста-

релой темнотой в единственном окошке, библиотеку со сломанным крыльцом; всюду на дверях висели, будто мужские неработающие органы, ржавые замки. Прежде вовсе не замечая поселковых мужиков, заросших и козлоногих, Фекла вдруг встала вспоминать их же молодыми. Вот этот, с мутными глазами в бурых сургучах, был когда-то Митькой Шутовым, одноклассником, подарившим Фекле на Восьмое марта красивую открытку. Вот этот, в драной телогрейке на голые ребра – кто-то из братьев Колесниковых, Славка либо Севка. Который из двоих – по пустому лицу с беззубым ртом, похожему на отвисший карман с дырой, разобрать было невозможно, но именно из-за этой неузнаваемости – откуда-то становилось понятно, что один из братьев помер. Но особенно резко и ясно Фекла увидела детей. Бабы рожали то и дело, детей было много, их угловатые, обритые, намазанные зеленкой головы напоминали яблочки-дички, незрелые и уже побитые, гроздьями по пять-шесть штук на каждую семью. Вдруг душа Феклы, доселе спящая, рванулась, за себя и за всех поселковых, в широкий мир. Душа кричала, как птица или паровоз, ночами Фекле снились бегущие рельсы, словно гигантская швейная машинка сострачивала вместе два куска туманного пространства, и в разрывах густого, с искрами, паровозного дыма проступал большой ступенчатый город, где над каждым домом – нарядный, будто новогодняя елка, башенный кран.

И вот тридцатого августа, в полдень, паровоз сестер Черепановых, сопя, вышел из депо. Был он

нетяжел и невелик, напоминал, действительно, старинную зингеровскую швейную машинку, поставленную на взятые от маленького тепловоза колесные пары. На открытом тендере вздыхал и шепелявил громадный чан с брагой, под чаном потрескивала и калилась небольшая чугунная печка, и змеевик, пройдя через резервуар с водой, уходил, как нитка в швейный механизм, в паровозную топку. Из четырех разрушенных вагончиков сестры собрали два и покрасили их изумрудно-зеленой масляной краской, не до конца просохшей. Впереди, на морде паровоза, где в советские времена делали красную звезду, Машка намалевала улыбающуюся физиономию не то дворняги, не то огромной черноухой мыши, срисованную с красивого золотого фантика от жвачки.

Поглазеть на пышущее диво собралась половина поселка.

– Внимание! – Фекла, высунувшись из кабины машиниста размером с огородный туалет, кричала в старый насморочный мегафон. – Завтра утром! В восемь утра! Едем в район! Детей записывать в школу! Каждый день возить будем! Пока без билетов, бесплатно!

– Это ще, на шамогонке поедет паровоз? – вылез вперед, шатаясь в полупустых сапогах, расхристанный Колесников, Славка либо Севка. – Ты лущце мне шамогонку шлей! Я шам твои телешки в район поташшу!

– Ага, потащит он! На четвереньках! Железный конь! – раздались из толпы громкие женские голоса.

– А че! Могу! – не унимался Колесников. – Еп-тыть, это што за Петрович?! – изумился он вдруг, тыча грязным, как морковь, указательным пальцем в сторону украшавшей паровоз черноухой зверюги.

– Какой вам Петрович, это из мультфильма, – сердито поправила вытаращенного Колесникова семилетняя Валька Зашихина, у которой дома был почти исправный, только иногда заливавший передачу как бы розовой брагой, телевизор «Горизонт».

– Фекла Алексанна, да кто же наших в школу запишет? – крикнула жившая через улицу от Черепановых голосистая Верка Круглова, мать пятерых белобрысых, тощих, как комары, девчонок-погодков. – Там у самих классы переполнены! В интернат и то не берут!

– Я договорилась в РОНО! Записывать будут в пятнадцатую школу и в двадцать восьмую, – ответила Фекла, глядя на людей, чьи запрокинутые лица, освещенные ярким солнцем, казались ей сверху похожими на горящие электрические лампочки. – Только документы соберите! Если в печках еще не стопили.

На другое утро, не в восемь, конечно, а почти в половине десятого, паровоз сестер Черепановых отправился в первый рейс. В болтавшихся вагончиках, на тесных лавках, чинно сомкнувшись круглыми плечами и коленями, сидели поселковые женщины – с сумками на животах, в новых трикотажных китайских юбках и кофтах, тут и там попачканных непросохшей зеленой краской.

Будущие школьники, тоже одетые в чистое и еще больше испятнанные зеленым, лезли к окнам, кричали, дудели, подражая сиплому паровозному свистку. По дороге чуть не произошло несчастье: острой березовой веткой, хлестнувшей в открытое окно, едва не вышибло глаз средней девочке Кругловой. Оказалось, за годы, пока узкоколейка стояла заброшенной, кривые болотные березы и черемухи вырастили на пути состава целые листовенные сети, которые с грубым шумом волоклись по корпусу паровоза – так что в нескольких местах пришлось останавливаться и прорубать топором упругую массу. Зато на открытых местах паровоз разгонялся быстро: летел, как конская грива, белый дымок, сверкали между рыжих кочек водяные зеркальца, взмывали с низким свистом испугнутые утки. Узкоколейка легко держала бойкий паровозик, настолько маленький, что наблюдателю со стороны могло показаться, будто суставчатый кулисный механизм, как железная нога, быстро-быстро крутит педаль трехколесного велосипеда.

С тех пор паровоз с двумя рядами от захватанной краски переполненными вагончиками каждое утро отправлялся в район. Возили школьников, всю дорогу дремавших в обнимку с твердыми новенькими ранцами; возили женщин на рынок, где они успешно торговали крупными налитыми овощами и возвращались довольные, с деньгами в потертых, угретых за пазухами портмонетах; возили в поликлинику вновь затеплившихся, зашевелившихся старух. Проторив дорогу в райздрав, Фекла привезла в Медянку настоящего доктора –

маленького лысого мужчину в смешных усах, словно сделанных, чтоб не пропадали, из выпавших волос, с глубокими морщинами на переносице, какие бывают от шнурков на старых, уже навсегда расшнурованных ботинках. Маленький доктор Андрей Николаич с обожанием глядел на рослую Феклу и после своей работы набивался в помощники, хотя совершенно ничего не смыслил в механизмах. Однажды, обнаружив на пустыре за бетонным забором самодельный паровозик, к поездкам присоединилась зычная, мелким золотым руном завитая книгоноша: библиотечка с тридцатилетним стажем, она объезжала на старых и горбатых рейсовых автобусах ближайшие к райцентру рабочие поселки, а вот теперь увидела способ охватить еще немного контингента. Раз в неделю, по четвергам, библиотечка приходила к поезду, таща по ухабам колесную тележку, набитую томами; в пути она все время читала, подбоченясь, раскрыв перед накрашенным лицом, будто двустворчатое зеркало, новенькую книжку, словно глядясь, гордясь и красуясь, спустив на кончик носа, рыхлого, как мокрый сахарок, мутноватые очки. К библиотечке и ее томам повыходили, повыползали дряхлые бывшие учительницы, две отставные бухгалтерши, жена покойного главного инженера – все с младенческими беззубыми улыбками, еще живые. Тут же, у библиотечной сумки, оказались и девчонки Кругловы, девчонки и пацан Зашихины, долговзый, с прыщами как малиновое варенье, Гришка Зотов, просивший фантастику. Для книгоноши открыли старую библиотеку, где под серой бай-

ковой пылью сохранились только ящики со сплешившимися каталожными карточками и вздутые стопки журнала «Звезда»; между делом кто-то неизвестный починил, подновив его свежими белыми плахами, библиотечное крыльцо.

Сестры Черепановы думали, что паровоз, который поселковые, с легкой руки Славки либо Севки Колесникова, прозвали Петровичем, будет развивать на прямых участках дороги до сорока километров в час. Но оказалось, что можно и шестьдесят. Самогон горел в паровозной топке прозрачным, как ветер, синим огнем, отдавая машине ту неопознанную энергию, что собирали и хранили здешние болота. Топливо вырабатывалось прямо по ходу машины, шланг, тянувшийся из змеевика, мерцал, будто шелковистая нитка, уходящая в строчку. Если процесс в самогонном аппарате немного замедлялся, можно было его подбодрить, кинув в чан ведро ягод и четверть пачки дрожжей. Брусники этой осенью высыпало видимо-невидимо, жесткие провололочные ягодники буквально расперло, и болото напоминало кроватьную сетку, сквозь которую пухло краснеет ватное одеяло. Случалось, что при падении скорости сестры Черепановы стопорили машину, и пассажиры, почти не сходя с полотна, надирали крупной ягоды на весь остаток пути. Из ледяных, питаемых упругими ключами, болотных бочажек можно было заправиться водой; дров для маленькой печки тоже хватало – тут и там чернели, будто трухлявые угли, поваленные тонкие стволы. В общем, болото давало все, что было нужно для движения маленького поезда, и ни разу не случи-

лось так, чтобы паровоз сестер Черепановых не достиг пункта назначения.

Однако пассажиров становилось все больше. Человек шестнадцать поселковых мужиков, внезапно протрезвевших и оттого натыкавшихся ногами на землю, будто сошедшие на берег матросы, устроились работать в райцентре. Несколько женщин пристрастились навещать родню. По субботам народ просился в кино. Теперь ежедневно приходилось делать не один, а два рейса, причем на обратный путь требовалось больше времени и топлива, потому что перецепить вагоны в тупике, застеленном многими ржавыми рельсами, но затянутом поверх путевого хозяйства слежавшейся свалкой, было невозможно. Поэтому Фекла обратилась ко всем, чтобы для паровоза дополнительно приносили самогон.

На удивление, с бутылками ясного, как литое стекло, спиртного продукта потянулись мужики. Теперь это у них называлось «выпить с Петровичем». Составив взносы рядком у воротец депо, они солидно садились покурить, давая друг другу в заскорузлых горстях живого огонька, осторожно заводя трезвые разговоры, как бы не совсем узнавая себя и других. Необычная трезвость распространялась по поселку Медянка. Трезвость была как яркий свет, резавший водянистые испытые глаза; многие при этом свете не могли заснуть и маялись, не в силах отключить горящий, как лампа, собственный мозг, на который из ночи летела мохнатая черная мошкара. Не обошлось без плохого. Тихий и седенький, как травяной корешок, старик Василий Зотов, по пьянке

спавший либо на кухонной лавке, либо в огороде между гряд, очнулся и принялся бегать по поселку, сверкая купленными ему лет пятнадцать назад детскими резиновыми сапожками – и так забежал в болото, в самую трясиину: нашли ту самую промоину с разбитой, будто жир на супе, мусорной ряской и висевшую почему-то на вербе дедову кепку. Участковый Петя, долговязый мужик, весь состоящий из хрящей и розовеющей в мелких сосудах мороженой крови, тоже со всеми вылез на свет из своей, треснутой вдоль, панельной квартиры и, вздыхая по деду, составил протокол.

В целом же мужики справлялись с протрезвлением. На улицах Медянки, чего не бывало давненько, стали появляться бритые мужские лица: голая кожа на месте снятых бород казалась совершенно белой по сравнению с морщинистым загаром, что делало мужиков похожими на обезьян. Будто вернувшись с войны, они узнавали своих подросших детей, осматривали хозяйство, принимались что-то понемногу чинить, понемногу плотничать: сперва получалось криво и инструментом по пальцам, но потом все лучше и лучше.

Между прочим, оборудование для гранулирования и брикетирования торфа, десять лет валявшееся по дворам и зараставшее лебедой, стало потихоньку возвращаться в цеха. Его притаскивали с широкими смущенными улыбками и сваливали в кучи, в которых то и дело что-то со скрежетом двигалось, точно мертвые агрегаты чувствовали близко свои недостающие части. Если находилось

свободное время, Фекла с Машкой сортировали вспученное и гнутое железо, разбираясь, как оно когда-то работало. Сперва казалось, что запустить цеха, исходя из этого лежалого металлолома, невозможно. Но потом Машка додумалась до хулиганского технического решения, напоминавше-го принципом детские качели, и сестры, по вечерам убрав со стола, рисовали в школьной тетрадке чертежи.

Так миновала осень, наступила зима с резкими ветрами и колючим снегом; побелевшие болота превратились в стекловату, тонким сизым маревом серебрились голые березняки, лед в испещренной хрупкими будыльями оцепенелой воде напоминал наплывший со свечки стеарин. Теперь темнело рано, и сестры приспособили на паровоз сильный прожектор, в чьем широком луче снег метался, будто мелкая рыбешка, попавшая в сети; несколько раз пришлось всем миром расчищать перетянувшие рельсы снежные заносы, но в целом все шло благополучно. Только четыре дня паровоз простоял в ремонте, во все остальное время он исправно прибывал в оснеженный тупик, где для ожидающих соорудили крытый шифером просторный навес. С наступлением весны стало и вовсе хорошо; клюква, вышедшая из-под снега, набралась сахаристой сладости, каждая ягодка была, как маленькая бомбочка, заряжена энергией и буквально взрывалась во рту. Глупая Машка, ходившая на пятом месяце с выпирающим, как дынька, животом, была совершенно счастлива. Она опять надела на своего очнувшегося, немного полысевшего, совершенно послуш-

ного Игорька тот самый, теперь не сходившийся на пухлой груди, замшевый пиджак и прогуливалась с ним под ручку по всем четырем верхним улицам, нюхая желтый, пачкающий нос, весенний букетик.

У Феклы, наоборот, было беспокойно на душе. Она догадывалась, что ежедневное прибытие в район самодельного, нигде не зарегистрированного транспортного средства нарушает какой-нибудь закон, а если даже нет – все равно нарушает ход вещей, по которому живут остальные нормальные люди, не изобретающие паровозов. Высадив в тупике грузно ссыпавшихся на гравий пассажиров, она предпочитала теперь не ждать на виду у городских, мелких в своей многочисленности, одинаково сереющих окон, но отгоняла состав за три километра, в рыжий сосновый лесок. И даже эта мера казалась Фекле недостаточной. Она все время ждала, что к ней придут какие-нибудь официальные люди и потребуют предъявить какие-нибудь, отсутствующие у нее, документы.

Как оказалось, не зря.

Все, как и в прошлый раз, началось с журналистов. В одно прекрасное майское утро паровоз, прибывший к свалке, был встречен в упор круглым пристальным взглядом телекамеры, расположившейся на самом высоком, сверкающем на солнце, мусорном бугре. Командовал тот самый толстый бородач, что приезжал в Медянку брать у сестер интервью. Бородач весь лучился восторгом, хлопывал и чуть не обнимал прыскавшую

паром горячую машину, гонял бледного, мотавшего челкой, оператора, требуя снять запекшийся чан с брагой, похожую на дудку паровозную трубу, настороженных пассажиров в окошках, растрепанную Машку, торжественно спускавшуюся, обнимая рукой живот, из кабины машиниста.

— Вот это паровоз! Вот это, я понимаю, Черепановы! — кричал телевизионщик, чмокая поочередно Машку и Феклу, щедро погружая их в табачную духоту своей бороды.

Остальные телевизионщики аплодировали. Пассажиров, наконец потянувшихся вылезать из вагонов, тоже обнимали и хлопали, трясли их красные, перехватывающие поклажу, руки, будто они были не приехавшие по ежедневным делам обыкновенные граждане, а вернувшиеся из полета космонавты.

На другой же день телевизионщики были в Медянке. Толстый бородач носился везде, колыхаясь и даже будто позванивая, как детская игрушка ванька-встанька. Больше, чем сестры, сделавшие паровоз, его поражали мужики, бросившие пить. Этот феномен бородач постигнуть не мог. Мужики, одетые по случаю съемок в лежалые, с твердыми воротниками, белые рубахи, втолковывали телевизионщику, что изнутри человека исходит свет, вот, ептыть, как из сарая с зажженным электричеством, и как только этот свет, значит, загорится, так хрен заснешь, пока не привыкнешь. Маленький доктор Андрей Николаич, посверкивая мелкими, как мошка, протертыми очочками, дал комментарий, что им про-

ведена частичная диспансеризация протрезвевшего населения Медянки и что Фекла Черепанова силой технического гения намного превосходит своих знаменитых предков.

Через две недели по областному каналу показали большой сюжет «Возрождение болотной Атлантиды». Поселковые, собравшись по нескольким домам, где были еще живые телевизоры, с восторгом узнавали в мерцающих размытых привидениях себя и свою родню. После передачи поселок совсем загордился. По вечерам мужики, сидя на старых осклизлых бревнах возле торфяного ручейка, горячо обсуждали идею, а не построить ли в Медянке какую-нибудь башню. Спорили, ставить башню перед магазином или перед бывшим Домом Культуры, из камня или, может, из бруса, и на сколько этажей. Тем временем передачу, порезанную и переименованную, повторили на одном из центральных каналов. В Интернете появились снимки самодельного паровоза с курносым Микки-Маусом на чугунном фасаде. Феномен не-пития в окружении разлитого моря качественного самогона горячо обсуждался в блогах, причем преобладали толкования мистические. Бородатый телевизионщик, на которого произвели большое впечатление рассуждения мужиков о внутреннем свете, поставил на себе эксперимент, после чего опубликовал в своем ЖЖ внезапно написавшиеся стихи:

Я пару дней не пил.
И понял, что напрасно
Провел я эти дни. Душа моя чиста.

Речь искренняя, походка безопасна.
Жизнь не начнется с чистого листа...

Однако самым важным следствием телевизионной передачи было то, что глава районной администрации Чеботарев, плотный и внутренне твердый мужчина, словно каким-то мощным механизмом спрессованный в брикет, получил распоряжение в форме пожелания: оказать всемерную помощь возрождающемуся рабочему поселку Медянка. В пожелании, спущенном из весьма высоких инстанций, строго предписывалось, прежде всего, построить до Медянки хорошую асфальтовую дорогу и пустить по ней рейсовый автобус.

Работа закипела немедленно. На рваные, закипшие корками, остатки прежней трассы были брошены все резервы людей и техники. На всем протяжении полуутопшей дороги рабочие в грязных оранжевых жилетах, поедаемые мошкой, раскидывали лопатами моментально сыреющий щебень, ровняли, будто жирный огородный чернозем, свежесваренный асфальт. Материала не жалели отнюдь: там, где были ямы, делали бугры, примерно такой же высоты, какой была глубина. Поселковые ходили смотреть. Дородный Митька Шутов, ставший по трезвости представительным и даже красивым в курчавой бараньей седине, хвастал, что теперь накопит на новые «Жигули».

И вот опять наступило первое сентября. Паровоз, тащивший полные вагоны наглаженных и причесанных школьников, только еще заворачи-

вал в тупик, а Фекла уже увидела в окно, что поезду приготовлена торжественная встреча. Под навесом, чинно и тесно, точно бочки и мешки на складе, стояли мужчины в строгих костюмах, с благожелательностью на лицах; среди них, на левом фланге, выделялась белоснежным корпусом единственная женщина крупного начальственного вида, в прическе будто большая лисья шапка. Впереди всех улыбался невысокий плотный товарищ, словно чем-то сдавленный сверху, отчего улыбка его напоминала вылезшую из слоеного пирога полоску варенья.

— Чеботарев, глава администрации, — веско представился товарищ, как только Фекла, застопорив паровик, прыгнула на землю. — А вы, стало быть, продолжаете у нас славную династию народных умельцев? Рад, очень рад познакомиться, — Чеботарев шагнул было пожать протянутую руку Феклы, но, увидав, что ее ладонь в машинном масле, сделал пальцами движение, будто хотел пощекотать деревенскую женщину под костистым подбородком.

Тут из вагонов, пихаясь и охаживая друг дружку букетами огородных, нарезанных матерями, георгин, посыпались школьники. Сразу появились откуда-то двое с фотоаппаратами. Чеботарев, крякнув и покраснев, поднял на руки младшую девчонку Зашихину, упершуюся исцарапанными кулачками в растопыренные лацканы. Попозировав таким образом минут пятнадцать — причем длинная девчонка ерзала слезть и почти доставала расхлябанными сандалиями до земли, — Чеботарев как бы перешел в иное, более демократическое качество.

– Ба! Да это же самогонный аппарат! – воскликнул он, по-хозяйски оглядывая заснувший паровик.

– Нет! Это паровоз! – громко встряла Машка, высовываясь из будки машинистов.

Машка ходила уже на сносях, но ни за что не захотела остаться дома в торжественный день. Живот ее сделался огромным и натягивал ситцевое платье, словно стремился взмыть, как воздушный шар; Машкины заплывшие глаза возбужденно блестели, веснушки на бледной коже походили уже не на опилки, а на размытые ржавые пятнышки, характерные для местных болотных лягушек.

– Да ладно, вот брага, вот змеевик! Я что, не мужик, не понимаю? – продолжал играть в демократию громогласный Чеботарев. – Поднесли бы стакашек главе администрации! – подмигнул он, уверенный, что сейчас побегут бегом и поднесут.

Вместо этого Машка, хитренько наморщив нос, дернула у себя над головой какой-то шнурок. Паровозная труба внезапно раздвинулась на манер подозрной, освободив неизвестные доселе клапаны, и взревела мокрым диким ревом, которого доселе никто не слышал. От неожиданности глава администрации взбрыкнул, выбив ботинками из гравия облачко пыли, и его сдавленная физиономия пошла бледными и красными слоями. Остальные тоже отпрянули, вытаращившись на трубу, медленно спускавшуюся в прежнее положение, стравливая похожие на меховую манжетку остатки пара.

– Ну, как стакашек? Ой, не могу... – Машка заливалась смехом, падая ничком на свой громадный живот, который, казалось, отдельно хохотал и булькал.

Дети, совершенно забывшие про первый урок, зашлись от восторга. Они скакали, мутузили друг друга, кричали «Тетя Маша, еще!», ревели, составив рупором ладони, пытаясь изобразить слоновий, разодравший окрестности, звук. На тугих лицах чеботаревской свиты тоже проступили осторожные вопросительные улыбки. Они моментально исчезли, когда глава администрации гневно повел бровями, с трудом шевеля лежавшие на лбу спрессованные морщины.

– Ну, чего смешно, чего смешно?! – заорал он на Машку, снова согнувшуюся от неудержимого хохота. – Дурында сельская!

С этими словами глава администрации повелительно махнул своим и, весь как уголь, багровый в серой седине, зашагал вверх по тропинке, со скрежетом вбивая короткие ноги в синеватый гравий. Свита, тотчас приняв деловитый и скромный вид, поспешила за ним; женщине начальственного вида, грузно вихлявшей каблуками на острых камешках, никто не помогал.

Вечером второго сентября, часов около девяти, в ворота дома Черепановых замолотили кулаками. За воротами стоял участковый Петя, в старом, каком-то арестантском трико с вытянутыми и обзеленными коленями, в милицейской фуражке, криво сидевшей на его длинной, грубо остриженной, будто тупым рубанком обработанной, голове. С Петей было еще два незнакомых

милиционера, явно из района, в полной форме. Один дядька был плотен, одышлив, с черными кустами из толстого носа, другой, длинный, выступающим прикусом напоминал грызуна.

– Гражданка Черепанова? – Незнакомые милиционеры, синхронно козырнув, предъявили Фекле красные удостоверения.

В залу прошли молча, Фекла между двух чужих милицейских. Сели за стол, на котором от ужина оставались неубранными плетенка с серым хлебом и наполовину вытекший в миску соленый помидор.

– Фекла Александровна, вы только поймите правильно. Мы к вам покамест с предупреждением, – начал серьезным тоном похожий на грызуна. – Вы построили а-гра-амадный самогонный аппарат на колесах и возите его по всему району, вроде рекламы. Нехорошо получается. Раньше за это была статья сто пятьдесят восьмая Уголовного кодекса. Сейчас этой статьи нету...

– Есть зато статья двести тридцать восьмая, за производство несертифицированного товара, – вставил, задыхаясь, носатый.

– Вот именно, – поддержал грызун. – А кроме того, имеется областной закон об административных правонарушениях, по которому с вас немедленно следует штраф в пятьдесят тысяч рублей. Так, чтобы дело до суда не доводить, вы должны свой аппарат демонтировать. В десятидневный срок!

Фекла сидела ни жива ни мертва, будто примерзла прямой спиной к спинке стула; мирные звуки вечернего дома – вздохи паровика в подва-

ле, бурчание стирального агрегата, жесткий стук настенных ходиков – словно собрались у нее в туго сжатой голове. Участковый Петя ерзал всеми своими хрящами, его бегающие глаза о чем-то умоляли застывшую Феклу. Милиционер, похожий на грызуна, вынул из планшетки, повозившись с крошечным замочком, мелко напечатанный документ и положил его перед Феклой на стол.

– Вот здесь подпишите, – милиционер ткнул волнистым, похожим на ракушку, ногтем в пустое место. – Что вы ознакомлены и предупреждены.

В документе Фекла различала только отдельные мелкие буквы да крепко приложенный синяк казенной печати. Взяв у милиционера шариковую ручку, она нацарапала, будто гвоздем, угловатую подпись. Милиционеры сразу засобирались, подались на выход. Участковый Петя плелся последним, горестно мотая опущенной головой.

Фекла осталась сидеть в оцепенении, слушая, как щелкают часы. Рука, подписавшая документ, лежала на столе отдельно от Феклы. Портрет Мирона Черепанова, скрывший изображение в отсвете лампы, отливал болотным золотом, мазки масляной краски были как черные живчики кровососущей трясины. Длинное лицо Феклы горело, на глаза и нос давило кислым жаром. Фекла отстраненно думала, что Машке вот-вот рожать, а милиционеры из района, скорей всего, заразили ее гриппом. Она забыла за жизнь, что вот так давят и щиплются вскипающие слезы.

Машка, которой строго было велено лежать после ужина, все-таки вылезла из койки и теперь стояла в дверях, бледная, с воском на лбу, в ветхой, едва не рвущейся на животе ситцевой ночнушке.

– Феклуша?.. – Машка тяжело проковыляла, села боком, устроив живот между раздвинутых колен. – Да не горюй, ну его, паровоз. А давай теперь построим знаешь что?..

Тут Машка выгнулась, оскалив мокрые зубки, живот ее потянулся и напрягся, будто лягушка, готовая прыгнуть.

– Ладно, – деловито сказала она моментально очнувшейся Фекле. – Вот рожу, потом поговорим.

Опять миновал год. Много перемен случилось за это время в поселке Медянка. Паровая машина, снятая с колес, налитая холодом, темнела в дальнем углу гулкого депо. Отдельно лежала труба, по которой во время сильных дождей сочилась, намывая сопливую тину, темная водица. С тех пор, как самогонный аппарат сестер Черепановых был демонтирован, сообщение между Медянкой и райцентром снова стало нерегулярным. Рейсовый автобус, пущенный властями, поработал до середины ноября, а потом увяз и теперь торчал из трясины ржавой задранной мордой, заплывшие фары его напоминали ломкие болотные поганки. Часть поселковых школьников все-таки взяли в интернат, двоих родители отправили к родственникам в область, остальные болтались просто так, промышляя по чужим ого-

родам, пиная по горбатым улицам мягкие, как шапки, сдутые мячи.

Но дорогу по болоту все же строили не зря. Предприниматели, прослышав, что у жителей Медянки появились деньги, завезли в поселковый магазин целую батарею дешевой водки. В отличие от самогона на живой болотной ягоде, водка была пуста, как мертвая вода, и совершенно оглушила мужиков, как если бы каждому разбили о башку воняющую солярой поллитровую бутылку. Обеспамятев, мужики шарашились по поселку, тараща жестяные белые глаза, или валялись где попало, исходя густым сивушным храпом. Никто из них уже не мог сообразить, для чего они год назад вырыли два котлована: один перед магазином, другой перед бывшим Домом культуры. Глубокие ямины с торчащими из стен оцарапанными зубьями гранита скорее мешали существованию, потому что в них запросто можно было свалиться. Зимой, в январе, так случилось с Митькой Шутовым. Осторожно, бочком спустившись с обледенелого магазинного крыльца, Митька, с целой сеткой дрожащих и плачущих поллитровок, вдруг поволокся куда-то вбок и исчез из виду в сыпучей метели — а когда его нашли на другое утро, он лежал, раскинувшись на дне котлована, подвернув, как бы с намерением проверить подошву, правую ногу. Его неживые, широко открытые глаза напоминали белые таблетки в ледянистых гнездах целлофана, и две бутылки из семи остались целы.

Все-таки какая-то память о возрождении поселка Медянка сохранялась в окружающем про-

странстве. После смерти Митьки Шутова две непостроенные башни стали иногда появляться в воздухе. Перед магазином возникала каменная башня, мощная и круглая, с беленым основанием, с четырьмя дополнительными башенками, напоминающими скворечники, под самой островерхой крышей. Перед бывшим домом культуры проступала башня деревянная, из толстого бруса по первые пять этажей, а дальше дощатая, фантастической высоты, похожая на уходящий в облака многоярусный стог сена, криво висящий на связанных жердях. Призрачные башни на всякий случай облетали удивленные вертолетчики; на них садились отдыхать перелетные птицы. Помнил про самодельный народный паровоз и толстый телевизионщик, ставший за это время известным сетевым поэтом. Всякий раз, бывая по работе в достопамятном райцентре, бородач непременно приходил поглядеть на тусклые маленькие рельсы и покосившийся навес. Сидя там, подперев прокуренную бороду пухлым кулаком, он, в ожидании волшебного самогонваренного паровоза, складывал строчки:

Душе измученной утешиться непросто.
Бывает, примешь яд,
а поутру
Лишь голова болит...

Между тем над мастерскими сестер Черепановых осторожно, прячась и припадая к шиферной кровле, утекал в туманное болото рабочий металлургический дымок. Подросшие Вовка и Витька

носились вокруг цехов по сорнякам, вопя и сшибая самодельными саблями головки чертополоха. Годовалая Светка, похожая размером и видом на крупного зайца, возилась на байковом одеяле с гайками и кривошипами. В цехах звенело железо, дышала кузня; время от времени оттуда слышалось пробное «цик-цик-цик» винтового летательного аппарата.

ЛЮБОВЬ В СЕДЬМОМ ВАГОНЕ

Елена Константиновна ехала на зимние каникулы в Петербург. В ее семье каникулы назывались старинным словом «вакации» – и так получалось лучше, потому что какие каникулы могут быть у пенсионерки? Но, несмотря на то, что маленькое умашенное личико нашей героини давно потеряло юные краски, а кудряшки ее седы, как береста, мы будем дальше называть ее просто Леночкой. У каждого человека есть его лучший и подлинный возраст, которого он достигает и в котором остается навсегда. Что бы ни утверждала медицина и что бы ни сообщало нам холодное зеркало. Подлинный возраст Леночки был восемнадцатилетний. Вчерашняя школьница, с артритными узлами на синеватых пальцах, в голубой беретке, которую мама связала под цвет лучистых Леночкиных глаз.

Из кого же состояла Леночкина семья, в которой сохранялись такие родные старинные словечки, в которой жила двухсотлетняя и совершенно бессмертная саксонская супница, прини-

маемая соседскими детишками за царскую корону? Да уже, почитайте, ни из кого. Из родных осталась дочь ее сводной сестры, назвать которую племянницей у одинокой Леночки не поворачивался язык. То была кривая и черная ветвь, привитая к семейному дереву в результате гулаговской любви: история давняя, страшная, происходившая в дымных от снега дремучих лесах и топких болотах, откуда Леночкин отец вернулся больным и бессловесным, рот его был затянут, будто паутиной, тонкой сухой сединой. Только такого отца Леночка и помнила, другого не знала: поздно родилась.

Дочка сводной сестры – порождение лесов и болот – приехала в Москву с новеньким дешевым чемоданом, полным старого тряпья, и явилась к тетке только через несколько лет, когда сделалась важной и богатой, купила квартиру и автомобиль, напоминавший Леночке поставленный на колеса концертный рояль. Эта северная шаманка, с лицом, словно выпеченным в глубокой сковородке, меняла мужчин примерно раз в четыре месяца – и даже менялась ими со своими приятельницами, такими же, как она, богатыми и успешными дамочками, абсолютно уверенными в себе. Именно племянница-шаманка содержала Леночку, навязывая ей то огромный, нестерпимо яркий телевизор, то стиральную машину со многими сложными режимами, которой Леночка ни в коем случае не могла доверить тонкое и ветхое столовое белье.

– Тебе бы, тетя Лена, выйти замуж, – говорила шаманка, недовольно посверкивая нефтяными

узкими глазами, смотревшими будто сквозь неправильные прорези бесстрастной маски.

– А я была, – с вызовом отвечала Леночка.

– Так что, один раз, что ли? И все? – тупо спрашивала шаманка, до отказа набивая теткин холодильник.

– И все! – гордо отвечала Леночка, трогая кривой от старости серебряной ложечкой кофейное мороженое, которое очень любила.

Мужа Сашу Леночка помнила хуже, чем родителей. Молодой офицер – веселый, рыжий, с головой как апельсин. Погиб на учениях. Нового мужа Леночка не искала. Твердо знала – нехорошо, судьба есть судьба. То же самое вместе с ней знали мама и папа, дедушки и бабушки, знали собрания сочинений в старом книжном шкафу. Шаманка откуда-то знала другое. Ей по истинному счету было лет сто пятьдесят. Равнодушная и бесстрастная, она, как идол, брала себе все, что подносила жизнь. Она не страдала ни из-за своих коротких козьих ног, ни из-за плоских черных волос. Просто носила самое лучшее, ела самое лучшее, спала с самыми лучшими мужчинами, не обращая никакого внимания на собственную внешность – не говоря уже о внутреннем мире, который наверняка представлял собой темную и топкую чащу. То, что знала Леночка, что знали ее родители, дедушки и бабушки, чем-то мешало шаманке. В последнее время она с особенной настойчивостью пыталась отправить Леночку в путешествие. Предлагала Египет, Испанию, Флориду. Но Леночка хотела ехать только в Петербург.

В Петербурге у нее была подруга Татьяна Александровна, она же Таточка – родней родной сестры. Леночка и Таточка дружили, сколько себя помнили. В юности они были совершенно разные: Леночка – тоненькая нежная блондинка, грезившая сценой, Таточка – волевая крупная брюнетка, мечтавшая строить корабли. Теперь подруги стали вроде как одинаковые. Обе овдовели, обе жили в однокомнатных панельных квартирах, доставшихся при расселении огромных коммуналок в центре Москвы и Петербурга. Таточка все еще была высокой и прямой, красила остатки волос в цвет воронова крыла. С возрастом у нее стали заметны усы, плоские щеки словно покрылись пылью. По паспорту Таточка была моложе Леночки на год и восемь месяцев, но подлинный Таточкин возраст, в отличие от вечного Леночкиного восемнадцатилетия, был довольно взрослый – лет около тридцати. Поэтому Таточка руководила подругой. Она категорически не одобряла сибирскую шаманку, считая, что новоявленная родственница ломает Леночке жизнь.

На самом деле обе подруги до смерти боялись жизни, которая как-то вдруг сделалась совершенно чужой. Они не понимали, что такое в этом мире любовь, не отличали девушек от молодых людей. Сидя в вагоне метро (если удавалось сесть), они видели прямо перед собой голые белые животы нависающей молодежи, украшенные стразами пупки, болтающиеся провода наушников, точно головы этого нового поколения были постоянно подключены к электричеству и работали на манер пылесосов. «Ну и что в них краси-

вого?» – спрашивали друг друга Леночка и Таточка. В этом новом мире иметь с кем-нибудь роман было все равно, что дышать под водой. Чужая, холодная среда. Леночка и Таточка доверяли друг другу, а больше никому. Много раз они мечтали, как было бы чудесно съехаться, жить в одном городе, на одной лестничной площадке и даже в одной квартире – объединив запасы серебряных ложек и вышитых скатертей. Но осуществить мечту было невозможно: Таточка обожала свой Петербург, а Леночка – свою Москву. Поэтому подружки ездили друг другу в гости так часто, как только позволяли деньги. В последнее время благодаря шаманке они позволяли делать это гораздо чаще, чем пару лет назад.

– Ну ладно, пусть будет опять Питер, – нехотя согласилась шаманка, попытавшаяся было подарить тете Лене на Новый год путевку в Таиланд.

Она сама купила Леночке дорожный билет в спальный вагон, но почему-то с датой отъезда на сутки позже, чем было намечено.

Леночка была счастлива. Шел замечательно красивый крупный снег – так, что стеклянный свод над перроном Ленинградского вокзала напоминал планетарий. Леночка спешила к своему вагону, сумка на колесиках бодро тарахтела – как вдруг одно колесо подвернулось и хрустнуло.

– Вам помочь?

На Леночку сверху вниз смотрел очень располагающий пожилой господин, с серебряной бородкой клинышком и в роговых очках на мягком

бесформенном носу. Глаза в очках были расплывчатые, добрые и немного растерянные.

– Нет-нет, спасибо, я сама, – испугалась Леночка.

– Ну как же сама, как же сама, когда колесо набекрень? – с этими словами пожилой господин подхватил сумку и зашагал вперед с преувеличенной бодростью, выдававшей, что ноша оказалась для него все-таки тяжеловата. – У вас какой вагон?

– Седьмой, седьмой, уже пришли!

– И у вас седьмой? Значит, вместе едем в Петербург, – улыбнулся пожилой господин, опуская сумку рядом с проводницей, проверявшей билеты у плотной группы командировочных. – Валериан Антонович, – церемонно представился он, и глаза его сквозь плюсовые линзы затеплились как-то очень близко, будто заглянули в душу.

Леночка потупилась. «Шаманка ему заплатила, – возникла у нее внезапная отчетливая мысль. – И подпилила колесо! Он специально сзади шел, чтобы не пропустить момент. Вот сейчас окажется, что мы в одном купе!»

Однако купе, куда Валериан Антонович, не смотря на слабые протесты, дотащил охромевшую сумку, оказалось занято шепотом, прерывистым дыханием и ароматом лилий. Огромный, звездчатый и стрелчатый, букет пышно лежал на столе. Двое смущенно разомкнули поцелуй и еще мгновение словно оставались отражением друг друга, с горячей алой краской на щеках и на губах. Молодой человек, коротко стриженный

брюнет, поспешно вскочил, произошла маленькая суетола со многими взаимными извинениями. Валериан Антонович аккуратно поместил Леночкину сумку в багажное отделение под мягким диванчиком. Пятясь из купе, он опять посмотрел на Леночку этим странным близким взглядом и словно хотел попросить о чем-то, но не попросил.

Молодые люди, взявшись за руки, тоже выскользнули вон, оставив Леночку одну. Леночка задумалась. По многим признакам – по тому, как темноволосый крепыш бережно держал крупные, землянично-розовые девичьи пальцы, по какой-то особой доверчивости между ними, по этому букету, словно стремившемуся наполнить своим холодным сладким запахом все доступное пространство, – Леночка поняла, что пара готовится к свадьбе. То, что было между этими молодыми людьми, никак не походило на современную так называемую любовь, когда оба в джинсах и с пивом, сегодня вместе – завтра разбегутся. Брюнет был для девушки не приятель и не бойфренд – он был жених. Происходило то, что случается в жизни один-единственный раз. С неожиданной ясностью Леночка вспомнила мужа, его подпрыгивающую, совсем не офицерскую походку, его веселое круглое лицо, по которому словно носятся, кружатся размазанные собственной скоростью рыжие веснушки.

Под эти плавные Леночкины мысли поезд незаметно тронулся, закачался букет, поплыла в окне, разворачиваясь против часовой, вечерняя огнистая Москва. Девушка вернулась в купе за-

туманенная, тихо села на место, в дальний уголок. Леночка поглядывала на спутницу с новым, живым любопытством. Что ж, довольно приятная и очень приличная молодая особа: скромная гладкая юбка, чистый лоб – и тоже, как у мужа Саши, золотые веснушки, словно осыпавшиеся под глаза с необычайно длинных, часто-часто мигающих ресниц. Была ли Леночка хуже, когда ходила в невестах? Вот ни на столько, наоборот: гораздо краше! Особенно в голубом жоржетовом платье, ловко перешитом из мамино, с жемчужинками на рукавах...

Леночка, как всегда в вагоне, собиралась лечь пораньше: любила сладко поспать под уютный, монотонный перестук колес. Но вид жениха и невесты странно на нее подействовал. Взволнованная, она то ложилась, то садилась, то снова бросалась лицом на горячую, как булка, толстую подушку. Цветы ехали теперь в багажной нише наверху и источали аромат, как источает музыку громко включенное радио. Наконец Леночка не выдержала и, пригладив щеткой смятые кудряшки, вышла в коридор.

В коридоре, один на весь вагон, стоял у дальнего окна с развевающейся занавеской задумчивый Валериан Антонович.

– И откуда я знал, что вы не спите в эту ночь? – спросил он мягко, давая Леночке место у поручня. – Дай, думаю, подожду. И вот дождался...

За окном полого падающий снег светился в ночном безлюдье, будто старое зеркало; пролетали легкие прутьяные перелески, промахивали огни. Леночка и Валериан Антонович проговари-

ли четыре часа. Валериан Антонович рассказал, что по профессии он хирург-кардиолог, едет в Петербург на конференцию. Рассказал, что вдов, имеет трех взрослых дочерей – и ни одна не похожа на мать, а только на него самого. Что уже не помнит живого лица супруги, а когда пытается восстановить его, закрыв глаза, видит мысленно только ее фотографии.

Время от времени Валериан Антонович, извинившись, уходил в тамбур покурить. За эти несколько минут Леночка могла тихонько ускользнуть к себе – но продолжала стоять у окна, глядя на бегущую за поездом луну, которая словно растворялась в собственном пылении, как таблетка шипучего аспирина. Леночка думала, что память загадочная вещь, что Валериан Антонович очень милый человек и будто создан для нее, под ее сегодняшнюю жизнь. Но очень странно все совпадает, словно по какому-то умыслу – нет, нет, ни за что! Возвращался Валериан Антонович, держа в большой горсти маленькую, как орешек, обкусанную трубку. От него приятно пахло табаком, а еще усталостью – так пахнет осенью в раскрытых огуречных парниках. Видно, что он был из тех без пяти лет стариков, кто разрешил себе, наконец, пожаловаться – и не может остановиться. Должно быть, он вот так пожаловался шаманке, и она предложила ему во всех смыслах удачную сделку. И все-таки у Валериана Антоновича были замечательные седые руки и очень хорошая улыбка, от которой смешно шевелилась острая бородка...

– Я, знаете, привык жить, как живу, – глуховато рассказывал он. – Только когда иду по улице,

очень не хватает женской руки справа. Так пусто – будто ступаю по краю пропасти. Толкнет кто-нибудь случайно, не со зла – и упаду...

Договорились, что на другой вечер в Петербурге встретятся и побродят втроем (Таточка запланировала какую-то выставку, но, кажется, у нее имелось только два билета). Леночка еще не знала, как поступит: на всякий случай она дала Валериану Антоновичу неправильный номер московского телефона. Этот номер, отягченный, как цепь висячим замком, одной неправильной цифрой, начал сниться Леночке, как только она коснулась головой вздыбленной подушки.

Но долго поспать не удалось. Леночка очнулась от странного ощущения, будто кто-то тяжелый сидит у нее в ногах. Она открыла глаза. Круглое, бледное лицо шаманки слабо светилось в полутьме, из-за перебегающих бликов оно напоминало циферблат, на котором каждую секунду стрелки переводятся на час вперед.

– Дорогая, отчего ты такая тяжелая? – хрипло спросила перепуганная Леночка.

– Мой дух во мне, – ответила шаманка, не разжимая губ.

Леночка приподнялась на локте. Ей сделалось жарко, сердце металось где-то в ночной рубашке, будто крупная мышь.

– Когда шаман вмещает духа-покровителя, он делается тяжел, как камень, – пояснила племянница гудящим голосом, исходившим прямо из ее груди.

Только тут Леночка увидела, что на племяннице надета необычная шуба. Грубая, коробчатая, она была увешана жухлыми лентами и металлическими предметами, которые Леночка поначалу приняла за свои серебряные ложки и вилки. Но сразу же она разглядела, что это была вовсе не посуда, а странные пластины и диски, между которыми покачивались фигурки животных, казалось, буквально сделанные вручную: будто кто-то сжимал в горсти расплавленный металл, и эти застывшие жмени железа сами собой становились похожи на волка, оленя, песца.

– Ты тоже едешь в этом поезде, дорогая? – заискивающе пролепетала Леночка, пытаясь вытащить из-под каменного веса затекшую ногу.

– Нет, я сейчас лечу на самолете. Я лечу над тобой, будто сова над куропаткой, – прогудела шаманка. – Я тебе снюсь.

– Да чего же ты хочешь от меня?! – в отчаянии воскликнула Леночка, так, что пространство купе призрачно вздрогнуло и спящая соседка, видная будто сквозь натянутую марлю, заворочалась во сне.

– А достала ты меня, дорогая тетя Лена, – вдруг произнесла племянница своим обычным голосом, и сразу сделалось заметно, что на губах у нее толсто, как варенье, намазана помада. – Существоешь вся такая несчастная! Я как к тебе приехала, как увидела эту затхлую комнатку с фотографиями дорогих покойников – мне аж дурно сделалось. А ведь тебе, тетя Лена, все было дано для счастья. Жила в Москве, при живых родителях, закончила университет. Не то что мамка

моя – в леспромхозе. И как ты собой распорядилась? Посмотреть на тебя – живой труп, а ведь шестидесяти нет.

– Что ты такое говоришь, дорогая, все у меня хорошо... – слабо запротестовала Леночка, натягивая до подбородка ознобно-легкое одеяло.

– Ты стоишь на темной стороне мира, – голос племянницы снова напрягся, загудел, по железным амулетам прошел глуховатый звон. – Не видела ты, тетя Лена, настоящей беды. Не хлебала горя из черного болота. Выходи, тетя Лена, замуж, как я тебе говорю! А не послушаешься меня – буду тебе сниться каждую ночь. Покажу тебе во сне железную дорогу, положенную на человеческих костях. Оплывает заброшенная дорога, зарастает тайгой. Но как пройдет по рельсам дрезина – зашевелиятся человеческие кости, и под колесами треск...

– Не надо! – Леночка облилась холодным потом, в волосах шевельнулся мороз.

– Молчи. – Раскосые глаза шаманки сделались тусклыми, будто замерзшее масло, она забормотала, раскачиваясь: – Покажу тебе беду, покажу красную железную колючку на поваленных столбах. Покажу красную ягоду в таежных ямах. Пришла беда, прилетел черный ворон с белой головой, умер великий шаман. Гудит, гудит бубен, камлает мертвый шаман, натянута тетива между вершинами гор... Теперь не смотри!!! – вдруг выкрикнула она пронзительно, выбросив вперед жилистую руку с маникюром, взметнув перед глазами тетки сухие ленты.

Леночка в ужасе зажмурилась, но успела увидеть, как неизвестная сила сняла с племянницы человеческий облик, будто кожуру с картофеля острейшим ножом, и шаманка превратилась в маленький вихрь. Изгибаясь злой пружинкой, вихрь покружил по купе и просверлился наружу, оставив на оконном стекле белесое пятно. Тут же на Леночку навалилась темнота.

Очнулась Леночка на удивление свежая и бодрая. Проводница, склонившись над ней, осторожно трясла за плечо.

– Ну, вы и заспались, – проговорила она, ласково улыбаясь золотыми мелкими зубами. – Никак добудиться не могу, думаю, уж не случилось ли чего. Прибываем через двадцать минут!

Дверь купе была открыта, и в обоих окнах плыл заиндевелый, сизый, воздушный Петербург. На купейном окне, полускрытый занавеской, белел неполный круг, какой бывает от горячего стакана на полированном столе. Леночка сразу вспомнила сон. Но почему-то страшное сновидение рождало в ней предчувствие хорошего. Соседка по купе, уже совершенно одетая, пристально смотрела на себя в раскрытую пудреницу и обводила тонкий рот сточенным в пенек губным карандашом. Леночка отчего-то догадалась, что девушка сильно волнуется – будто актриса перед выходом на сцену.

Не успела Леночка переодеться и ополоснуть лицо, как подступил Московский вокзал. В купе заглянул улыбающийся Валериан Антонович, с отпечатком подушки на мятой щеке.

– Носильщика вызывали? – произнес он шутливо, но голос его заметно подрагивал. Все волновались в это морозное и металлическое петербургское утро. Леночка тоже чувствовала острый холодок на сердце. «Нет? Да? Или все-таки нет?» – беспокойно думала она, залезая неловко, как куренок, пробуя крылышки, в поданное кавалером каракулевое пальто.

Она позволила Валериану Антоновичу с грехотом выворотить из-под диванчика увечную сумку. Пусть это даже спектакль с начала до конца, а все равно приятно, и стоит, пожалуй, прогуляться с кавалером по Петербургу, поглядим еще, как он понравится Таточке... Прихватив едва не забытые перчатки, Леночка сообщила, что готова на выход.

Но сразу выйти из вагона им не удалось. По коридору, занимая всю его ширину, загоня пассажиров вместе с багажом обратно по местам, пер, шурша и благоухая, громадный букетище розовых роз, каждая – величиной с кочан капусты. Через минуту этот букет и несший их мужчина – хрящеватый блондин в золоченых очках, с налитыми клюквенной кровью оттопыренными ушами, – ввалились в купе, оттеснив Валериана Антоновича неизвестно куда, а Леночку заставив буквально прыгнуть с ногами на разворошенный диванчик. Леночка не верила своим глазам: соседка, только вчера так нежно прощавшаяся с женихом, раскрыла объятия сперва букету, а потом, выпустив из рук рухнувшие розы, самозабвенно бросилась на шею ушастому блондину. «Вот стерва! – подумала Леночка закружившей-

ся головой. – Этот, стало быть, ее любовник!» Однако блондин так истово целовал земляничные пальцы раздумывавшей стервы, так преданно мигал запотевшими очочками, что Леночка засомневалась в своем негодующем выводе. «И этот тоже ее жених?» – растерянно думала она, наблюдая, как молодая пара, не в силах перестать целоваться, собирала разбросанные вещи, как девушка подняла и понесла букет, точно это был их с блондином общий новорожденный ребенок. Напоследок она полуобернулась, и Леночке показалось, будто острый блистающий девичий глаз прятельски ей подмигнул.

Внезапно Леночка перестала думать, ей сделалось легко, так легко, будто вся темнота, что исподволь напитала ее по внешней видимости счастливую жизнь, растворилась и ушла в таежное черное болото. Поток пассажиров ее, невесомую, вынесло на перрон. Откуда-то сбоку возник Валериан Антонович с сумкой. «Да! Конечно, да!» – мысленно воскликнула Леночка, а вслух произнесла:

– Давайте-ка проверим, правильно ли вы записали номер моего телефона. Вдруг я чего-нибудь напутала, сами понимаете, ночью было дело...

Ей было радостно смотреть, как Валериан Антонович, дудя коричневыми губами, набивает правильный номер на своем дешевом, словно игрушечном мобильнике. Потом она непринужденно и как-то привычно взяла Валериана Антоновича под руку, и он зашагал, важный, как гусь, с Леночкой на одной руке и с сумкой на другой, навстречу Таточке, возникшей из серебристой мглы

перрона, подобно скале. По мере того как Таточкины угольные брови лезли все выше на лоб, Леночка улыбалась все шире, а Валериан Антонович все больше важничал и смущался.

Неподалеку, за углом, возле аккуратно припаркованного серебристого «ауди», прохаживалась в ожидании хорошо одетая женщина с широким бесстрастным чукотским лицом, а рядом с ноги на ногу переминался небритый брюнет в дешевой дутой куртке, с забитыми в карманы большими кулаками. Оба встрепенулись при виде пары, спешившей к ним, запинаясь о грандиозный букет, который несли головками вниз.

– Ну что, актеры, как успехи? – поинтересовалась чукчанка.

– По-моему, ее впечатлило, – сдержанно проговорил подошедший блондин, подтыкая золоченые очки на тонком клюквенном носу.

– Ой, у нее сделалось такое лицо, такое лицо! – возбужденно заговорила девица, потирая друг о дружку румяные от холода острые коленки. – Будто живой водой умыли, честное слово! Вот... – Она возложила на капот автомобиля полуразвалившийся букет.

– Цветы оставьте себе, – распорядилась чукчанка. – Ладно, получите ваш гонорар, все как договорились.

Она достала из плоской крокодиловой сумки три одинаковых белых конверта и протянула актерам. Брюнет жадно схватил, раскрыл, принялся копаться в деньгах, что-то шепча колючим запекшимся ртом.

– Между прочим, было еще одно обстоятельство, – заметил блондин, джентльменским движением отправляя конверт во внутренний карман потрепанного светлого пальто. – Некий дядечка, по виду профессор, приударил за вашей подопечной. Это не из нашей труппы?

– Дядечка? Нет. Поглядим, что за дядечка такой... Если понадобится, позвоню, – с этими словами чукчанка неуклюже, будто в чум, залезла в автомобиль, и серебристый «ауди» рванул, сметая в ледяную слякоть чудесные розы, которые никто не успел подхватить.

– Ну что, ребята, надо отметить! – весело обернулся блондин к своим подзаработавшим товарищам.

– Грех не выпить, – страстно и хрипло откликнулся брюнет.

Девушка радостно засмеялась, и трое молодых неизвестных актеров пошли выбирать кабачок.

СОДЕРЖАНИЕ

Достоверная фантастика (Предисловие автора)	5
Русская пуля	9
Норковая шапка В.И. Падерина	33
Вещество	57
Статуя командора	86
Тайна кошки	114
Старик и смерч	142
Под покровом Моцарта	176
Восьмой шар	201
Сестры Черепановы	232
Любовь в седьмом вагоне.	269

Славникова Ольга Александровна

ЛЮБОВЬ В СЕДЬМОМ ВАГОНЕ

Рассказы

Зав. редакцией *Е.Д. Шубина*
Редактор *Д.З. Хасанова*
Технический редактор *Г.Г. Рыжкова*
Корректоры *М.В. Карпышева, С.А. Войнова*
Компьютерная верстка *И.В. Михайловой*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, пр. Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»
141100, РФ, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

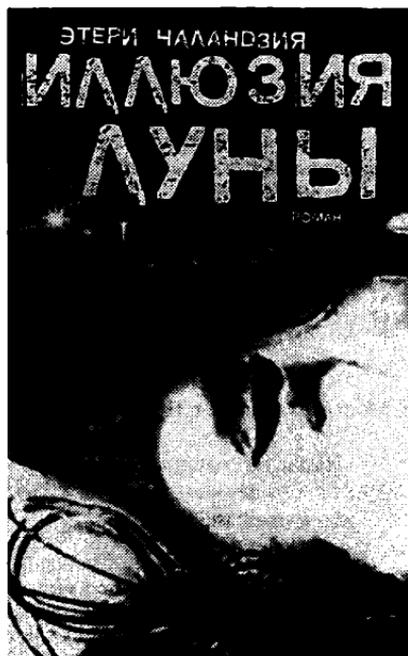
Наши электронные адреса:

www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru ✓

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

ЭТЕРИ ЧАЛАНДЗИЯ

ИЛЛЮЗИЯ ЛУНЫ
роман



В романе Этери Чаландзия всё происходит в Москве – городе мистическом, который диктует свои правила игры. Или наоборот – это герои наделяют его своими фантазиями.

Старый художник, его дочь и ее муж-бизнесмен живут, давно утратив связь друг с другом. Но вдруг происходит серия убийств, и всё указывает на то, что мотив – ревность...



Ольга Славникова,

известная романистка,
лауреат премии «РУССКИЙ БУКЕР», призывает

читателя отнестись к этим текстам
как к «достоверной фантастике».

**И тогда вы поверите и в сверхскоростной поезд,
и в гигантский смерч, сокрушающий
все на своем пути, и в экзотическое появление
в обычном вагоне якутки-шаманки
со всеми атрибутами
ее ремесла...**

**Детектив, любовная история,
антиутопия, ужастик...**

**Каждый, перелистнув страницы
этой книги, найдет свое:
сидите ли вы дома в удобном кресле
или расположились
в купе и посматриваете в окно
на убегающую платформу.**

ISBN 978-5-17-055490-4



9 785170 554904

www.elkniga.ru